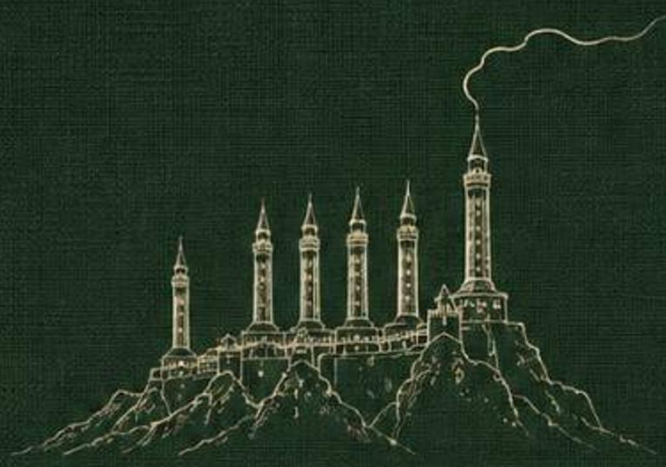


ДОМ, КОТОРЫЙ НЕ СПИТ

РУСТАМ БАЛАГУТДИНОВ

Рустам Балагутдинов

Дом, который не спит

«Автор»
2026

Балагутдинов Р. И.

Дом, который не спит / Р. И. Балагутдинов — «Автор», 2026

За последний год в королевстве умерли сорок три ребенка: иссушенные, без единой капли крови, в запертых домах. На карте убийств зияет пустое пятно: Серый Предел, где за пятнадцать лет не случилось ни одного такого дела. Королевский судья Тренн отправляется туда вместе с инквизитором, паладином и эльфийкой.Крепость встречает их гостеприимством и молчанием. Клан Морвена не стареет, ничего не ест и не держит детей. По ночам над северной башней поднимается дым против ветра. Чем ближе следователи к разгадке, тем яснее, что виновник слишком близко, а правда о нем страшнее любого приговора.Темная магия, расследование и история о цене чужой жизни, и о том, можно ли ее вернуть.

© Балагутдинов Р. И., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 13
Глава 3 21
Глава 4 29
Глава 5 40
Глава 6 48
Глава 7 59
Глава 8 66
Глава 9 75
Конец ознакомительного фрагмента. 80

Рустам Балагутдинов
Дом, который не спит

Глава 1

Мужчина почесал голову, глядя на уходящую Аврору. Она шла по проходу между скамьями неторопливо и бесшумно, как ходят те, кто привык, что под ногами ничто не должно скрипеть: невысокая, узкоплечая, в конопляном плаще, перехваченном на талии ремнем. Капюшон она не надела, и темные волосы, небрежно стянутые на затылке, шевелились от сквозняка. Лицо у нее было узкое, светлое, с едва заметным розоватым оттенком, будто она только что вышла из бани и еще не остыла, и такие же розоватые руки, которые она держала сложенными перед собой, как монахиня или человек, которому нечего делать с руками. У дверей она не обернулась. Створка, висевшая на одной петле, скрипнула, выпуская ее на улицу, и закрылась, а через мгновение по ту сторону порога что-то тихо шевельнулось, как шевелится дым, если его тронуть. Сквозь щели в створке пробивались полоски закатного света, красноватые, как угли, и ложились на плиты пола длинными полосами, которые медленно ползли к алтарю. Куда она отправилась, мужчина не спрашивал. Не спрашивают же, куда по вечерам уходит кошка.

И все же он никак не мог понять одного — как она могла не упиваться разрушением, которое причиняет война всем этим людям?

Вот он, к примеру, вполне доволен всем этим кровопролитием. Это же так будоражит, когда две армии сталкиваются между собой и победа оказывается на стороне того, кто сильнее, проворнее, смекалистее; на стороне того, кто ее заслужил. Мужчина и сам любил всякие стычки и драки. Никогда не отказывался от того, чтобы помериться с кем-то силами. И на войну смотрел так же.

«В чем же твоя загадка, Аврора?» — пронеслась в его голове мысль, а за ней следующая: «Что, если она недоговаривает или сама не знает, что говорит?»

Опершись плечом о косяк, он решил прокрутить в голове ту часть их разговора, где речь шла непосредственно о войне. Стоять так было удобно: от главных дверей церкви открывался вид на весь неф, на разбитый алтарь и на боковую дверь, а дверь, как известно, лучшее место для человека, который хочет думать и при этом делать вид, что охраняет.

«Я спросил ее, где она была. Сказал, что перед отъездом ее обыскался Отец. А она мне и отвечает, что наткнулась на поле битвы. Очередное в этой двухлетней войне. Сказала, что было много мертвых людей. Причем как сказала — явно с отвращением. Спросила о том, когда закончится война. А я ей на это и отвечаю, что война, мол, для нас благоприятна. Так Отец говорит, и так, следовательно, думаем мы. На что она говорит, что против войны ничего не имеет. Против войны в отвлеченном, видимо, понятии. Говорит, что если бы та происходила далеко и не затрагивала ее жизнь, то она была бы равнодушна. И я спрашиваю: чем тебе война не нравится, кровавая, что ли? А она: просто она так близко, мне страшно выходить на прогулки. И добавляет: что, если меня возьмут в плен или просто убьют чужие?»

— Здесь решительно что-то не сходится… — произнес он, поднимая глаза к потолку, где в прогоревшей кровле зияла дыра с клочком неба, и продолжил свой монолог, только на этот раз размышляя вслух, бормоча себе под нос: — Почему война благоприятна для нас? Так говорит Отец… И мы его слушаемся. Пока идет война, мы можем совершать налеты на деревни, и никто не заподозрит конкретно нас — скажут, что неприятель, мол, поработал. Пропажу местных жителей тоже спишут на это. Скажут что-то вроде — в плен забрали. Да и правы будут, в плен забрали; только не вражеская сторона, а мы — мы забрали. А что она говорит?

Что ей неспокойно. Почему она боится, что ее заберут в плен и… как ее могут убить? С чего такому страху-то быть? Ну, допустим, заберут ее в плен, и что дальше? Она же легко может обратиться дымом и сбежать таким образом. Нет, это мне *решительно* не понятно. А то, что ее убьют? Ну кто может убить ее? Она легко может закончить схватку даже с сильным противником — лишив того жизни по мановению руки. Ну допустим, противник не один — что тогда? Насколько мне известно, она может выкачивать силы хоть из толпы людей. А отряд солдат, хоть и ощетинившийся мечами да щитами, все равно остается, в сущности, толпой простых людей. Нет, я бы понял, если бы это был отряд Инквизиции, где нашелся бы артефакт, подавляющий магию. Или какой-то рыцарский орден, занимающийся специально гонением ведьм да колдунов. Но даже так, что ей реально может угрожать? Она же девушка, на солдата не похожа. Ничего серьезного с ней не сделают. А как она закончила разговор? Сказала, что солдаты ее не страшат. И я в это верю, об этом и я говорю, что не могут ее страшить солдаты. Она добавляет, что ее страшит то, что они наводят суету. Признается, что ей нравится спокойствие, безмятежность и предсказуемость. А война это все у нее отбирает.

— Что ты там себе под нос бормочешь? — раздалось сбоку.

Из боковой двери, ведущей в ризницу, вышел юнец и остановился на пороге, скрестив руки на груди. Выглядел он лет на двадцать, хотя таким числам в их семействе доверять не стоило: худой, юркий, с острым лицом и черными вихрами, торчавшими как попало, и с глазами, которые бегали по сторонам, словно что-то выискивая. Даже стоя на месте, он создавал впечатление, что в любой миг может сорваться и побежать. Одет он был в простую рубаху и штаны, пыльные до колен, — видно, обходил двор и осматривал заднюю стену.

— Как-то не похоже, чтобы ты бдительно охранял вход в наше убежище! — добавил он.

— Да так, Ренье, задумался, — ответил мужчина. Это был Гаспар: на вид лет тридцати пяти, плотный, широкоплечий, с короткой шеей, темной щетиной и лицом, которое от природы казалось недовольным, — губы сжаты, брови сдвинуты, а взгляд тяжелый, как у человека, которому все время кажется, что его недооценивают. За поясом у него торчал клинок, к которому он, по-видимому, давно привык и о котором давно не заботился. — Все никак к решению прийти не могу. А что касается убежища, то я все еще верю, что случайный путник к нам не забредет… а если и забредет, то его будет слышно издалека, и я, поверь уж, буду готов к теплому приему.

Их убежище на деле оказалось старой церковью в опустошенной войной деревне. Читатель, быть может, представил себе нечто величественное, со шпилем, витражами и колокольней, но церквушка была из тех, что строят в деревнях, когда на храм Божий денег набрали, а на красоту нет: приземистая, с двускатной крышей, с одним окном над дверью и тремя по бокам, ни шпиля, ни витражей, а вместо колокольни — деревянная звонница, сколоченная сбоку на скорую руку. Зато стены ее были кирпичные, толстые, выбеленные известью, и потому, когда прошедшая здесь солдатня пожгла остальные домишки, церквушка выстояла против огня. Пострадал только цвет: кое-где на внешних стенах по белому расползлась копоть, и церковь выглядела теперь как человек, который вышел из бани и тут же чихнул в сажу.

Внутри было сумрачно и пахло дымом, холодной золой и чем-то кислым, чему названия подбирать не хотелось. День клонился к вечеру, и свет проходил через выбитые окна косыми полосами, в которых медленно кружилась пыль. Пол был выложен неровными плитами, в щелях между ними застряла солома. Скамьи — длинные, грубые, без спинок — стояли двумя рядами, но часть их солдаты изрубили на растопку, и от них остались щепки да ножки, торчавшие, как кости. Алтарь, каменный, с простым резным ободком, разбили: плита раскололась, подсвечники унесли, а чаша для священного огня, которая в таких церквях горит день и ночь, лежала опрокинутой, и серый пепел из нее рассыпался по полу широким веером. Над алтарем на стене еще виднелся знак веры — языки пламени, расходящиеся в разные стороны, вырезанные в дереве; позолоту с них содрали, и они остались темными и голыми, как ребра.

Деревня вокруг была под стать. Черные остовы домов стояли вдоль улицы, как зубы, оставшиеся у старика, а посреди площади, там, где когда-то был колодец, лежало то, что осталось от крестьян. Солдаты сложили их в одну кучу и подожгли, и теперь над площадью стелился серый, жирный дым, который к вечеру не уходил, а оседал. Гаспар с Ренье старались туда не ходить: не из брезгливости, а потому что для их целей эти люди теперь были бесполезны, а смотреть на бесполезное им, людям практичным, не хотелось.

Здесь они сидели, дожидаясь возвращения лорда Морвена — отца «семейства». Он должен вернуться и отдать приказ: наступать на соседнюю деревню или сворачивать кампанию. Дело в том, что они не успели ничем поживиться в этой деревне: крестьян забили солдаты. А они изначально планировали понабрать себе рабов для кормежки и утащить в свою горную крепость.

— А ты, Гаспар, проницателен, как всегда! О чем думаешь-то? — спросил парень, усаживаясь на уцелевший обломок скамьи напротив разрушенного алтаря.

— Да все о нашей принцессе…

— О леди Морвен? А что с ней?

— Да не нравится ей война. Говорит, мол, спокойствие нарушает. И мне кажется, что тут дело не в том, что война кровавая сама по себе, не в том, что стороны несут колоссальные потери. Кажется, на сами жизни солдат ей плевать. Просто…

— Я хоть и не общался с леди Морвен непосредственно, — перебил Ренье, — но давно заметил за ней… особенность. Она сторонится наших шумных посиделок. Может, война для нее что-то вроде такой посиделки? Вот и бесится с этого. Или вот еще, помнится мне случай, когда я только обратился, она подозрительно ко мне относилась — словно я лишний, чужак, как будто для меня не было места в ее глазах. Но потом, когда она меня узнала получше, когда я стал читаемым, — она успокоилась. Может, и с войной так же? Она просто не знает, как себя вести, когда идет война. Она-то к ней не привыкла. Да и я, надо сказать, не привык.

— А что к ней привыкать? — недоуменно спросил Гаспар. — К войне привыкать не надо, надо просто пережить ее. Да и мы же не участвуем ни в какой войне, мы просто наблюдатели. Вот!

— Ну не сказал бы, что мы просто наблюдаем… Мы пользуемся плодами этой войны. Сколько деревень мы так обокрали? Сколько народу в темницу загнали?

— Ну это да… ладно. Но все равно, война же благо выходит — для таких, как мы… А она говорит, что ей нравится спокойствие, безмятежность и предсказуемость.

— А тебя все не отпускает, я смотрю. Наверняка еще перед сном будешь все это в голове прокручивать? Относись к этому проще. Ну не нравится ей война, и ладно, а почему, собственно, должна нравиться? Главное, чтобы она свое дело делала. А насчет последнего, что ты сказал, — то здесь и весь ответ на твои умственные потуги. Война, значится, не спокойная, не безмятежная и не предсказуемая; потому принцессе и не нравится. Как я уже и говорил — она привыкла к мирной обстановке. Мне кажется, ты все усложнил, как всегда, такой из тебя философ выходит.

— Она только недавно с такой разведки вернулась… — мужчина запнулся. — Подожди! Я что-то слышу… снаружи!

Они с Ренье подбежали к дверям церкви и стали вслушиваться. Снаружи раздавались голоса.

«Мародеры», — подумал парень. И вправду это были они. Отчаявшиеся люди, ищущие, чем бы поживиться во время войны. Они вошли в церковь, и в проеме дверей, на фоне низкого оранжевого света, стало видно, что их было человека три. Первым шел тучный, краснолицый, с пухлыми пальцами, на одном из которых тускло блестел перстень — потемневшее серебро с мутным красноватым камнем. Следом — самый низкий, узкоплечий, с быстрым взглядом человека, привыкшего говорить раньше, чем думать. Замыкал шествие высокий, сутулый, с

длинными руками и одним глазом, который косил в сторону, как будто искал, откуда придет беда. Все трое были небриты и пахли дорогой, потом и чужим железом. Вооружены слабо: мечи, наверное, подобрали с трупов — у одного клинок был в ржавчине, у другого в зазубринах, а у третьего и вовсе оказался не меч, а длинный нож для разделки туш. Похожи на крестьян, на городских не тянут. Доспехов на них нет. Значит, точно не рыцари, да и на солдат не смахивают.

— О, посмотрите, кто у нас тут прячется! Никак товарищи по нашему делу. Ну, признавайтесь… значится, что нашли, есть чем поживиться? — с порога начал тучный мужчина. — Ну… чего молчим?

— Гаспар, позволь я объясню ему, — спросил парень, глядя на своего названного брата, и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Дело в том, что солдаты, прошедшиеся по этой деревне, все добро с собой прихватили и даже церковь не пожалели, разрушили алтарь. Прямо святотатцы. Так что нет, ничего мы не нашли, но если вы найдете что-то для вас ценное, то смело забирайте — мы против не будем.

— Что ты такое… Ренье, мы же можем…

Мужчина хотел сказать, что они вдвоем могут напасть на этих заблудившихся бедолаг — крови попить и т.д. Или связать их и сделать своими рабами. Но ситуация сложилась иначе. Ренье, хоть и был зверем по натуре, в таких случаях давал шанс людям поступить правильно. На этот раз под правильным поступком понималось, что мародеры должны, попрощавшись, развернуться и пойти своим путем. Вот так просто — без жертв и кровопролития. Да и к тому же веревок у них не было — связывать было нечем. То есть возможность была, конечно, но к ней упырь прибегать не хотел.

— А вы не похожи на наших! — заявил самый низкий мародер.

— Точно, одежда на вас слишком уж богатая, — поддержал его второй.

— Тише-тише, парни, — заявил их толстый лидер, — наверное, этому найдется простое объяснение. Мм, — выжидающе посмотрел он на двух «богачей», — говорите! И даже не смейте врать. Я это сразу почувствую. У меня, — он указал на свой перстень, — кольцо волшебное есть. Так что ложь я теперь всегда замечаю.

— Слушай, мужик… — начал было Гаспар.

— Милые люди, мы и вправду никакие не мародеры, — вклинился Ренье. — Мы здесь по другому важному делу! А грабим мы изредка и, можно сказать, для души.

— Да, у нас тут дело, — пробормотал Гаспар.

— Хм, интересно… И что это за дело? — спросил мужчина.

— А это вас точно не касается! — прорычал Гаспар, хватаясь за висящий на поясе клинок.

Заметив это, Ренье положил ему руку на плечо, приговаривая «спокойствие-спокойствие».

— Друзья! Мы же не хотим зазря проливать кровь. Наше дело такое. Мы… как бы это сказать помягче, чтобы до вас дошло? Ходим по деревням, и мы… набираем рабов из уцелевших крестьян. Такие дела!

Перстень ничего не сообщил своему хозяину. Обычно, если его владелец слышит ложь, перстень начинает жечь кожу. Ренье говорил правду. Он, конечно, сказал не всю правду. Он не сказал, что рабов они набирают в качестве скота. Но ни единого ложного слова он не произнес.

— Так значит — вы работорговцы, — сплюнул самый высокий из мародеров.

— Я бы так не сказал, — выпалил Ренье, — мы ими не торгуем!

— А нам, — процедил главарь шайки, — все равно! Рабство мы не уважаем. У нас с рабовладельцами личные счеты, — протянул он. — Так что несчастливый у вас выдался день, парни.

Мародеры схватились за оружие и пошли в сторону Гаспара, надеясь расправиться сначала с противником, представляющим, как им казалось, большую угрозу. Упырь достал из-за пояса свой клинок (ножен у него не было) и стал яростно отбиваться от шквала неумелых ударов. Вот одному из мародеров удалось полоснуть лицо мужчины, и они с еще большей силой набросились на него. Каково же было их удивление, когда тот, отпрыгнув назад, вытер кровь с лица, а раны никакой видно не было. «Как так?!» — подумал толстячок. Гаспар не был хорошим мечником и уж точно не владел искусством фехтования, а потому отбивался так же неумело, как враги наносили удары. В общем, они друг друга стоили как противники. Клинки со звоном сталкивались, разбрызгивая искры, и пыль, поднятая из-под ног, медленно оседала в полосах закатного света. И это была бы вполне честная дуэль, если бы не численный перевес. Одному удалось полоснуть упыря по шее, но тот лишь выдал кривую усмешку. На свету было заметно, как рана тут же начала затягиваться. «Нам его не одолеть! Он колдун…» — заиграла мысль в голове у самого низкого из нападавших.

— Ренье! — завопил Гаспар, явно вымотавшийся в ходе сражения.

— Да-да, сейчас, — выпалил юноша.

Ренье, до этого наблюдавший за дракой из темного угла, был явно недоволен тем, что о нем вспомнили. Выругавшись, он достал из-за пояса кинжал и сделал глубокий надрез на своем запястье. После этого он начал бормотать свою темную молитву. Он обращался к темным силам, прося дать ему сил. По прошествии нескольких секунд из его запястья хлынул кровавый поток и направился в сторону нападавших. Кровь завихрилась, вытянулась красной лентой и мгновение спустя превратилась в прочные путы, сковав мародеров, и те, потеряв равновесие, упали на пол. Путы не только связали их, но и выбили из них дух: все трое обмякли и затихли. Гаспар оттащил тела к стене, свалив их друг рядом с другом. Тучный раскинулся на спине, как перевернутый бочонок, самый низкий поджал ноги, а сутулый так и остался лежать на боку, косящий глаз закатился под веко. Красная лента, еще мгновение назад струившаяся в воздухе, потускнела и запеклась на их запястьях и щиколотках бурыми браслетами. В церкви остро и сладковато запахло железом. Рубаха на шее Гаспара пропиталась кровью, и он, недовольно оттянув воротник, обнаружил под ним гладкую кожу, на которой не осталось и следа от недавней раны.

Обессиленный в ходе ритуала Ренье растекся по скамейке. Он не хотел доводить до такого исхода. Вполне доброжелательно общался с мародерами — разрешил даже забрать все, что плохо лежит, а они… видите ли, против рабовладельцев выступают. Кривозубые. Это была магия крови — одна из простейших ее форм. Ничего другого молодой человек из магии крови до сих пор не выучил. Почему? Да потому, что обыденная жизнь не обязывала его становиться полноценным магом. Он был хорош в своей профессии. В своем звероподобном облике он становился страшным и быстрым, ловким и сильным и мог успешно загонять добычу в угол. Обычно он занимался тем, что «играл в догонялки» со своей жертвой. Особенно когда выходил на одиночную охоту. В этой форме он обладал отличным зрением и отменным чутьем и легко мог брать след. Когда же они совершали нападения на деревни, то он скорее был нужен, чтобы вселять в крестьян страх и лишать их мыслей о побеге. Бывало, самый смекалистый крестьянин намеревался убежать от напасти на коне; так вот, коня Ренье очень удачно догонял и стаскивал горемыку на землю.

А вот прибегать к магии крови он не любил. По вопросам магии лучше обращаться непосредственно к лорду Морвену — он опытный маг. Или на крайний случай — к леди Морвен: хоть у нее мало опыта, но она юное дарование. Однако, в отличие от Ренье, Авроре не нужно взывать к темным силам — магию она творит так же просто, как, например, дышит. Хотя ее арсенал и ограничен. Читатель уже знает, что она может обращаться дымом и на расстоянии похищать жизненные силы людей. Последнее она умеет делать буквально с самого рождения. А вот превращение в дым ей пришлось очень долго тренировать. Поначалу она всякий раз, как

обращалась в дым, теряла одежду и после обратного превращения оказывалась совершенно нагая. Никто, конечно, не подсматривал за леди, но когда она призналась в своей проблеме Отцу, тот придумал изощренное решение. Он раздобыл где-то конопляный плащ — такой легкий и дышащий — и как-то зачаровал его при помощи все той же магии крови. Кровью Авроры он привязал его к ней, и теперь она, обращаясь в дым будучи одетой в него, при возврате человеческого облика сохраняла его на себе. Собственно, если без плаща она обращается в нежно-розовую дымку (цвета ее кожи), то с ним — в зеленовато-черный дым (в его цвет соответственно). Ренье после обращения тоже оказывается голый, но для него эту проблему никто решать не торопится. Он все же не принцесса клана и даже не леди — перетерпит неприятности.

Однако если читатель внимательный, то он может задаться вопросом: «А что, под плащом девушки нет другой одежды после воплощения?» Так вот, одежды и вправду нет (точнее, не было долгое время). Но я бы не сказал, что ее это заботит. Плащ опоясывается ремнем, который она обычно завязывает на талии, так что ничего не видно. Она, конечно, чувствует себя слегка обнаженной, но не чувствует себя неловко. Плащ ей нужен не из стыда, а чтобы соблюдать внешние нормы приличия, которые сама она не вполне разделяет. В последнее время она все чаще ловила себя на мысли, что истинная ее форма — дым, а тело лишь вторично. Нагота ее не смущает; смущает то, что окружающие могут счесть ее неприличной, — а в ее кругу, даже среди своих, обнаженными на людях ходить не принято: даже Ренье старался обращаться в человека в уединении. Полный комплект одежды (также зачарованной кровью) она надевает изредка, если, к примеру, необходимо осуществить вылазку в город или что-то в этом роде.

Очнувшийся мародер воскликнул:

— Какого?! Что вы сделали? Кто вы такие на самом деле?

Это был главарь. Он лежал на спине, прижатый к каменным плитам, с красным лицом, на котором застыло выражение человека, которому снится кошмар и который никак не может понять, что уже проснулся.

— Очнулся! — обрадовался Ренье, все еще сжимающий свое запястье, чтобы остановить кровь.

— Мы такие же люди, как и вы, со своими тараканами в голове. Хотя церковь считает иначе. Как она называет нас, братец? — спросил Гаспар и тут же прорычал: — Упыри!

— Так что да, мы упыри! — весело прощебетал Ренье. — Самые настоящие! Мы же предлагали вам мирный исход, почему не послушались?

— Так вы же эти работорговцы! — простонал мародер. — А мы клятву дали, что не дадим таким жизни.

— Ох, в этом и беда, что мы не обычные работорговцы. Гаспар, расскажи ему, зачем мы собираем рабов на самом деле.

— Зачем? — тупо уставился он на приятеля.

— Пусть знают, что их ждет… в самом ближайшем будущем. А это колечко я, пожалуй, оставлю себе, — сказал Ренье, снимая перстень с пухлого пальца. Перстень сошел неохотно, оставив на коже белую полоску, и Ренье, повертев находку в пальцах, надел ее на указательный, где она сидела свободно, как чужая.

— Да… это… не буду я. Хочешь рассказывать — делай, но сам.

Ренье вздохнул и начал:

— Мы привезем вас в нашу горную крепость, где бросим в темницу. Каждый день к вам будут приходить… люди и сцеживать кровушку. С каждого немного, ровно столько, чтобы вы не умерли… скажем, один бокал с человека. И так будет продолжаться каждую неделю. Если вы откинетесь, то вас выбросят, а на ваше место начнут искать новых «добровольцев». Ах да… мы обещаемся вас кормить и поить, пока вы послушно играете роль наших пленников. Сами мы рабскую еду не едим, а утоляем голод и жажду исключительно кровью. Вы бы знали,

насколько она питательна при должном подходе! Восполняет к тому же магические силы у кого они есть — снимает магическое утомление, вернее. А все это работает, потому что у нас у всех есть контракт с темными силами. За наши силы мы должны приносить им жертву. И не так, что можно принести коллективную жертву и дальше жить. Нет, на каждого… упыря своя жертва и соответствующий ритуал. Исключение — наша принцесса и Отец: ей жертвы приносить не обязательно, как и ему. Наш Отец контролирует весь процесс, и он отвечает головой за поступление все новых и новых жертв. Он единственный имеет непосредственную связь с темными силами, а потому выступает в качестве координатора, что ли. Ему процент капает с каждой индивидуальной жертвы. Вот. А наша принцесса с самого своего рождения особенная. Наш Отец устроил какой-то кровавый ритуал перед рождением доченьки, и вроде поэтому ей жертв приносить не надо. Наверное, пообещал что-то вроде того, что пусть дочь родится такой и сякой, а мы всю нашу жизнь будем тебе жертвы приносить. Ну, это только мои догадки.

Тем временем очнуться успели уже все мародеры, и все слушали Ренье. Можно сказать, они даже увлеклись его рассказом. Они не пытались сбежать, понимали — бесполезно. Так что в молчании приняли свою участь.

— А как вы, парни, относитесь к войне? — спросил Гаспар, заметивший, что все мародеры очнулись.

И тут между ним и пленниками завязалась вынужденная беседа. Правильно Ренье в диалоге с ним подмечал, что тот и перед сном будет прокручивать в голове мысли о войне. Гаспар часто как бы застревает на одной теме, на одной мысли и в течение долгого времени может к ней все возвращаться и возвращаться. Он из тех людей, которые по ходу дня вспоминают какую-то свою неудачу — то, что им, в крайнем случае, кажется неудачей, — и проигрывают в сознании слышанные реплики и фантазируют о новых, которые могли бы случиться, если бы они ответили как-то иначе. И там, где тот же Ренье мог давно закрыть тему и забыть о ней, Гаспар никак не решался с ней проститься.

— Так вы считаете, причем все втроем, что наш король поступает правильно, когда оспаривает право на эти земли, ссылаясь на то, что когда-то они принадлежали именно восточной части империи? И что соседнее королевство, которое около века владело этим куском земли, в данном случае неправо в своих действиях. Иначе говоря, не хотите ли вы сказать, что война имеет историческое оправдание?

— Слушай, ну ты и загнул, — протянул низкий мародер. — Мы тебе обычные мужики. Мы видим, что наши воюют, и поддерживаем их. А как иначе?

— Это ученые мужи пусть спорят, кто в этой войне прав, а кто нет! — добавил высокий мародер.

— Какой есть резон нам выступать на стороне не нашего короля? Наша жизнь от этого станет лучше? — спросил пухлый.

— Ну есть такие, кто считает, что если победят враги, то и мы лучше заживем, — неуверенно произнес Гаспар. — В таком виде звучит глупо, конечно, но обычно говорят, что вот в соседнем королевстве развито, скажем, кузнечное дело или лучше проводятся рыцарские турниры. И такие люди думают, что если враги нас захватят, то и у нас это все магическим образом станет лучше. Хотя почему так должно стать — непонятно.

Собравшись с мыслями, главный мародер выдал речь:

— Слушай, мы просто избавляем мертвецов от вещей, которые им уже не понадобятся. Продаем их на городских рынках. Иногда нас гонят. Иногда закрывают на это глаза, если позолотить ручку; особенно если позолотить. Да мы обираем и своих, и чужих, потому что это выгоднее в конечном счете. То есть мы, конечно, поддерживаем наших, но это не значит, что нам будет как-то совестно их грабить. Мы возвращаем вещи в естественный оборот. Что хорошего, если они будут лежать нетронутые?

— Я-то мародерство не осуждаю, но законы у нас это не поощряют…

Ренье потер глаза и, вскинув голову к потолку, подумал: «Сколько же нам ждать возвращения Отца?» Разговоры о войне ему порядком надоели.

Глава 2

«Все пошло не так. Все испорчено!» — кричал внутренний голос Авроры. Внешне она была спокойной.

— Юна, значит, — вслух вырвалось у нее.

Она до сих пор не поняла, что пошло иначе в этот раз. Хотя кажется, что вот-вот ее озарит мысль. Эта девочка. Вся проблема в ней.

«А как она отреагировала? Как говорила со мной?» — пронеслось в голове. «Это она виновата, а не я». Аврора пришла в ее дом с четким желанием — полакомиться страданием ребенка, оборвать маленькую жизнь, испить детской кровушки. Все шло как полагается ровно до того мгновения, когда девочка проснулась. Ошибка была не со стороны Авроры. Это Юна; из-за нее случилась ошибка в налаженном процессе. Никогда раньше дети не вели себя таким образом.

— Просто с этим я еще не сталкивалась… — успокаивала себя девушка. — Нужно попробовать еще раз. В другом доме, в другой семье.

Ночь стояла ясная, с острым месяцем и мелкими звездами, и она плыла под ними тонкой зеленовато-черной нитью, которую ветер то растягивал, то сворачивал в клубок. Внизу тянулись поля, измятые войной, как одеяло после бессонной ночи: черные прогалины выгоревших полос, пустые дороги, редкие огоньки, гаснувшие, едва кто-то замечал ее тень.

В этот самый момент она пролетала над какой-то деревушкой. Та лежала у кромки леса: десяток домов под соломенными крышами, огороды, колодец с журавлем и единственная струйка дыма, поднимавшаяся от трубы, в которой, видно, забыли погасить угли. Покружив в небе, словно бы решаясь на поступок, она все же спустилась и залетела в окно покосившегося домика.

Внутри пахло хлебом, кислым молоком и сырой соломой. Вся семья спала в кучке на соломе, поверх которой была постелена холщовая ткань. Отец, мать и три ребенка лежали, обнимая друг друга. Отец — костистый, с темной от солнца шеей и ладонями, похожими на корни; мать — с растрепавшейся косой, перекинутой на плечо. Расстеленная солома спасала от холода, идущего от пола. А объятия согревали, учитывая, что ночь была не теплая.

Аврора опешила. Она не ожидала, что натолкнется на такой бедняцкий дом. Ее понять можно. Обычно излюбленными целями были городские детишки — особенно из дорогих кварталов, где люди или эльфы могли позволить себе несколько комнат и отдельные спальные места. Здесь, в деревне, девушка оказалась из безысходности. Это не был расчетливый шаг; ею управляли эмоции, хоть и имели они весьма слабое выражение вовне. Да, наверняка наблюдатель мог бы сказать, что это было хладнокровное решение, тщательно продуманное до мелочей. Но нет! Так только кажется. На самом деле девушку обуревали чувства. Просто выхода они не находили. Все внутри.

Еще одна вещь заботила ее. Она очень надеялась, что эта деревня не входит в земли отца, известного феодала. Он настрого запретил всему клану охотиться на родных землях. «Чтобы отвести беду от нашего дома…» — так он говорил.

— Начнем… — шепотом сказала она.

Она аккуратно подняла маленькое тельце. Это был мальчик лет пяти, с приоткрытым ртом. У него был хороший сон. Это сыграло на руку Авроре. Стараясь двигаться бесшумно, она вышла из дома, держа на руках этого ребенка. Дверь предательски скрипнула. От неожиданности Аврора остановилась. Никто не проснулся. Все хорошо.

Деревня расположилась рядом с лесом, в который и направилась похитительница. В лесу было тихо. Видимо, даже птицы спали. Пахло сырым мхом. Кроны сосен еле просвечивались, а потому лунный свет слабо освещал тропинку. Впрочем, немного погодя девушка с нее свер-

нула. Она начала будить дитя, а сама в это же время доставала из-за пояса свой любимый ножичек — узкий, длиной с ладонь, с костяной рукоятью. Она долго уговаривала отца зачаровать его тоже, как и одежду. «Какой тебе от него прок? — недоумевающе спросил он в тот день. — Он не сможет тебя защитить». Дочь не стала говорить, зачем именно ей нужен нож. Она не посвятила отца в то, какие именно забавы она проводит с жертвами. Он-то думал, что она просто иссушает их и все. Не знал он, в общем, что она любит делать с жертвами.

— Просыпайся! Просыпайся-просыпайся… — приговаривала Аврора, тормоша ребенка.

— Ч-что? Мама?! — промямлил мальчик, протирая глаза. — Ты не моя мама! Мама! Мама!

— Твоя мама спит. А я так и знала, что ты захочешь ее разбудить. Поэтому мы здесь, — провела она рукой, — в лесу. Здесь твои крики никто не услышит, мой дорогой…

— Мама! — не унимался ребенок.

Аврора смотрела на него как завороженная. В такие моменты она чувствовала себя по-настоящему живой. Она все старалась это как-то себе объяснить. К примеру, она говорила, что ей нравится, как беспомощно себя ведет жертва. Или что сама она чувствует себя уверенной. Особенно она подмечала, что радуется тому, как дети пытаются что-то предпринять, но все их усилия оказываются тщетными. Они не могут ей противостоять, и это создает безопасную (для нее) атмосферу, где лишь у нее одной есть силы что-то делать. Она чувствует себя сильной еще и потому, что ей нет нужды прибегать к магии, чтобы побороть ребенка. Совершить грех собственными руками, без костыля в виде врожденных магических способностей, — вот что оживляет ее. С ровесником или с лицом постарше могут возникнуть проблемы — она ни разу не вступала с ними в схватку. Внутренне она очень слаба. И ведь да, используя магические силы, она может справиться с небольшим отрядом, а за ним с еще одним и еще — и покажется сильной, но сама она себя не считает сильной именно потому, что это магия. Да и не абы какая магия, а врожденная — в которую не надо вкладывать ни усилий, ни сил: ничего. Она могла бы еще как-то положительно относиться к магии, если бы та была выстрадана в течение какого-то времени — в процессе изучения.

Тем временем ребенок, не переставая, звал родителей. Один надрез за другим делала Аврора. Кровь стекала по ручкам.

— Маааама! Пааапа! — сквозь слезы кричал мальчик, и это нарушало лесную тишину.

Вампирша схватила его руку и медленно слизала кровь. Ей не нужно было ее пить. По крайней мере, голодной она не была. Но само действие вызывало у нее удовольствие. Она перешла ко второй ручке.

Девушка медлила с тем, чтобы лишить ребенка жизни. Она уже была готова иссушить жертву. Ждала, пока тот перестанет плакать.

— Будь сильным, мальчик… и тогда боги позаботятся о тебе.

Ребенок лихорадочно смотрел на свои руки, на порезы на руках. Он никак не мог поверить, что это случается с ним. В душе он надеялся, что ему снится кошмар и что скоро он проснется. Он все ждал этого момента.

Настало время. Ей не было нужды касаться его. И все же она решилась на поцелуй. Наверняка поэт назвал бы его как-то красочно, «поцелуй смерти» или иначе. Она прижала свои губы к губам мальчика. Было видно, как с каждой секундой он тает, а свет покидает глаза. Аврора коснулась языком слез, которые сползали по лицу. Ей понравился соленый привкус.

Иссохшее тельце она подкинула обратно в дом. Хотелось, чтобы родители нашли его. Будь она действительно холодным, расчетливым серийным убийцей — то старалась бы замести следы. Но по какой-то причине она их всегда оставляла — у нее был почерк. Может, втайне она надеялась на то, что ее поймают. Или хотела еще чего-то. Может, ей двигала гордыня в такие моменты.

Обратившись в дым, она пронеслась над деревней и направилась в сторону церкви — во временное убежище посреди выжженных войной земель.

— Смотрите, кто вернулся! — пропел Ренье.

— Принцесса… — буркнул Гаспар и, подумав, что это могло прозвучать некрасиво, отвел глаза.

В церкви теперь горела единственная свеча, прилепленная воском к обломку скамьи. Ее неровный свет доставал до стен, у которых вдоль плит сидели, привалившись друг к другу, трое пленников, обмотанные бурыми от запекшейся крови путами. Тучный клевал носом, высокий смотрел в одну точку косящим глазом, а низкий, судя по виду, пытался решить, стоит ли обижаться на жизнь прямо сейчас или лучше подождать до утра.

Аврора молча прошла к алтарю, думая о чем-то своем. Около получаса простояла она у разбитой плиты, разглядывая опрокинутую чашу для огня и расходящиеся языки пламени над ней, как разглядывают то, что тебя не касается, но почему-то держит взгляд. Потом, будто бы отвлекшись от своих мыслей, обернулась к «публике» и спросила:

— Меня так долго не было, а отец все еще не явился? — произнесла она так, что можно счесть это как пассивную агрессию. К тому же никакого благоговейного трепета при упоминании Отца у нее не случилось (как это обычно бывает у остальных). И сразу добавила: — А это что за троица?

— Это новые рабы! — воскликнул Ренье. — Так ведь, парни?

Гаспар, заметив, что товарищ полностью пропустил мимо ушей первый вопрос, решил сам на него ответить:

— От Отца никаких вестей не было, и сам он не являлся. Мы уже который час его ждем здесь.

— Слушай… — заговорщически начал лидер мародеров, обращаясь к Авроре. — Мы ведь ничего плохого не сделали. Зла вам никакого не желали и, заметь, не причинили. Может, вы нас отпустите. Сейчас ты вроде главная…

— Эй-эй, я давал вам шанс развернуться — вы его профукали. Напали на нас! Так что сидите и наслаждайтесь нашим обществом, — заключил Ренье.

— В любом случае не мне это решать, — отмахнулась Аврора.

Она привыкла, что на большинство вопросов, требующих от нее каких-либо действий, можно ответить, что это решать будет кто-то другой. В основном, конечно, она ссылалась на своего Отца. Но когда его не было, за старшего обычно был Гаспар. Так что если тот еще не принял решения, то она тем более его принимать не собиралась. Хотя позицию, которую она занимает, можно назвать весьма удобной. Если она не находила, что ответить, или не желала брать ответственность на себя — то прикрывалась кем-то другим. Но в ситуациях один на один, когда никто не видит и никто не знает (как в случае с убийством детей), она говорила себе в мыслях: «все решено». А вот кто в таких ситуациях решал — сама ли Аврора на сознательном уровне или что-то не осознаваемое ей самой, — об этом сказать трудно.

Тяжело себе представить человека, который, будучи в здравом уме, проснется однажды утром и скажет: «Решено! Сегодня займусь убийством». Конечно, писатель может придумать такого персонажа. Но тогда он будет неинтересным. Этакой функцией. Этот персонаж убивает, тот спасает, а третий любит. Намного правдоподобнее выглядит, если за персонажем что-то стоит. Как бы это объяснить? За одним может стоять вера. Уверовавший убийца — уже звучит интересно. Во что он уверовал, в чем заключается его вера. Вера ли это в какую-то определенную идею, или в темного бога, в злые силы; или, добавим чуточку психологизма, — вера в то, что твердят голоса в голове. Всякое может быть. Такому убийце можно и посочувствовать, мол, он-то сам был хорошим человеком — виновато пагубное влияние того, во что он поверил. Бедненький.

В случае Авроры вера ни при чем. Она не особенно-то верит в то, что говорит Отец. А если она даже его внушению не поддалась, то каким-то посторонним идеям уж тем более не откроется. А что, если идея не придет извне, а зародится в самой голове девушки? Тут тоже не вполне ясно, откуда ей взяться: идея, родившаяся в собственной голове, почти всегда вырастает из чьих-то слов, из прочитанного или подсмотренного. Нет, Аврора определенно не человек веры.

Она любит пофантазировать. Об этом и не спорю. Но ее фантазии никак не являются воплощением веры во что-либо. Они носят весьма отвлеченный характер. В них она представляет себя кем угодно и размышляет о чем угодно — но только не о том, что составляет костяк ее реальной жизни. Заявить, что Аврора фантазирует об убийствах, — все равно что заявить, что торговец мечтает о том, как приятно стоять под палящим солнцем, продавать товары, пересчитывать деньги и отдавать сдачу покупателям. Люди редко грезят о том, что и без того составляет их будни. Так и Аврора — она уже убивает, и ей странно было бы предаваться фантазиям, где она это делает. Нет, поймите правильно. Я не утверждаю, что не бывает моментов, когда она не думает об убийствах, — разумеется, такие бывают; я лишь хочу донести мысль, что убивает она не потому, что идет на поводу фантазий (скорее, сначала она начала убивать, а потом уже появились какие-то фантазии об этом; да и то они редкость).

Нет, конечно, есть случаи. Когда человек, предвкушая что-либо, может предаваться фантазиям об этом — как это должно произойти, что может случиться или пойти не так. Но это тоже вряд ли подходит Авроре. Она не похожа на стратега, который бы продумывал масштабные планы. Действует она примерно по одной схеме, и каждый раз предвкушать то, что всегда проходит однообразно, было бы странно. Не похожа Аврора и на тревожного человека, который из-за своей же тревоги прогоняет в мыслях различные сценарии того, что должно случиться. Вряд ли Аврору можно отнести к этим двум типам.

Итого мы имеем следующее: 1) Аврора совершает убийства исходя не из какой-то веры; 2) Аврора совершает убийства не потому, что много о них фантазирует; 3) Аврора не продумывает каждое убийство как-то отдельно — действует по заранее составленной схеме; 4) она не тревожится об убийствах.

На последнем я бы хотел остановиться подробнее.

Как мы представляем себе человека, объятого тревогой? Думающего о чем-то предстоящем, о каком-то действии, которое его затрагивает или в котором он непосредственно должен принять участие? Чтобы далеко не уходить, рассмотрим тревожного человека, замышляющего убийство. Первое, что приходит в голову: «Он будет опасаться, что его поймают». При ярко выраженной тревоге человек может и не продвинуться в осуществлении своего плана — так и застрять на этапе планирования, боясь возмездия. Ухудшится ситуация, если ему в голову взбредет, что кто-то может узнать о его желании, подслушать или уже следит за ним. Этакая паранойя выходит. Но допустим, что тревога не столь сильная и плану ничего не мешает осуществиться. Каким может быть этот план? Так как человек тревожный, то это будет продуманный до мелочей план. Каждая деталь, которая может как-то повлиять на задуманное действие, должна быть учтена воспаленным сознанием. Но разве похоже, чтобы это имело место в случае Авроры? На мой взгляд — нет.

У Авроры простая схема: оказалась рядом со спящим ребенком — понаблюдала — разбудила — истязала — лишила жизни. Ну какая в этой схеме обстоятельность? Аврора не продумывает, к примеру, то, как она окажется возле ребенка, как попадет в комнату. Она знает, что может преодолеть огромные расстояния в форме дыма и в ней же проникнуть в помещение. Это ее никогда не подводило. И поэтому она никогда не занималась специальной проработкой этого этапа. Если бы она добиралась на лошадях или как-то иначе, то, возможно, это заслужило бы отдельной проработки. А так это настолько очевидно для нее, что даже никакого планирования здесь не возникает. Далее идет наблюдение — никакого особо хитрого плана

здесь также нет. Разбудить можно любого ребенка — это тоже бесхитростно. Истязание всегда проходит по единому шаблону, никакого планирования и здесь не нужно. Ну и лишение жизни — Аврора предпочитает похищать жизненную силу до полного истощения, то есть никаких смертельных ножевых ранений она не наносит.

Мы смогли убедиться, что убийство не вызывает у нее тревоги. И, кажется, можем сделать еще один шаг. Тот, кто не тревожится, не обязательно спокоен. Бывает и так, что человек не тревожится потому, что именно здесь ему тревожиться не о чем: единственное место, где все идет по плану.

Давайте вспомним, что сама Аврора говорит о войне. Она любит спокойствие, безмятежность и предсказуемость, а война отбирает у нее все три. Вспомним, как она отзывалась о собственных чувствах там, в лесу: ей нравится, как беспомощно ведет себя жертва; ей нравится чувствовать себя уверенной; ей нравится чувствовать себя живой. Это три разных ответа, но, если вдуматься, это один. В те минуты, когда ребенок плачет, а нож делает свою работу, в ее мире не происходит ничего, чего бы она не могла предсказать. Схема, которую мы только что разбирали, потому и лишена обстоятельности, что обстоятельность ей ни к чему: схема и есть ее смысл. Это единственное место, где все идет так, как должно, и где она — не слабая дочь, которая отвечает «не мне решать» и прячется за Отца, а единственная, кто хоть что-то делает. Ей не нужно быть могущественной — достаточно быть сильнее ребенка. Оттого она так ценит «собственные руки» без костыля врожденной магии: в этой комнате ей не приходится быть никем, кроме себя.

Пожалуй, этим же объясняется то, как она отнеслась к Юне. Девочка проснулась и повела себя иначе — и схема дала трещину. «Все пошло не так. Все испорчено!» — так не говорят о неудачной охоте, так говорят о рухнувшем мире; именно такой мир ей и устроила война. А почерк, который она оставляет, тела, что подбрасывает обратно в дом, — возможно, просто знак того, что даже в этом укромном месте ей хочется, чтобы кто-то узнал: здесь побывала она.

Поймите правильно, я не утверждаю, что это окончательный ответ. Но если требуется одна фраза, то я бы сказал так: Аврора убивает потому, что убийство остается для нее единственным известным способом почувствовать себя живой и сильной в мире, где все остальное ей неподвластно и непредсказуемо. Хотя, может, я чего-то не знаю.

— Скажите, Инквизитор, Вы разбираетесь в последних делах Церкви? Эта дорога меня доконает.

— Да, в курсе последних новостей. А что Вы хотели, друг мой?

Говорили двое всадников, которые вот уже который час ехали стремя в стремя по разбитой дороге. По обе стороны тянулись поля, выжженные кое-где до черноты, пустые сараи, вороны, сидевшие на изгородях с видом людей, которым торопиться некуда. Справа ехал судья — высокий, сухощавый, с острым носом, сединой на висках и тяжелыми, чуть сонными веками, из-под которых он смотрел так, что собеседнику сразу хотелось проверить, не соврал ли он в последние пять минут. Одет он был в темный камзол с чернильным пятном на манжете, которого он, кажется, не замечал. Слева на низкорослой упитанной кобыле покачивался его собеседник: невысокий, круглый, с пухлыми румяными щеками, толстой шеей и серой рясой, на груди которой висел медный знак — расходящиеся языки пламени. Он ерзал в седле, как человек, которому оно безнадежно жестко, и то и дело тянулся к фляге с водой.

Инквизитор и его собеседник, судья Тренн, давно уже приняли за должное то, что обращаются друг к другу исключительно на «Вы» и ведут каждый диалог в уважительном русле, как правило. Конечно, порой судья, порой господин Менсфельд могли быть не в духе, и это прорывалось в их, в остальном, уважительный диалог. Иногда они могли быть не в ладах друг с другом и спорили между собой, и тогда в ход летели весьма занятные сочетания уважения и неприязни, вроде: «Вы, все же идиот!», «Вы последняя вошь на свете!» или «Ну Вы и дурак!».

Такая вот дружба, прошедшая сквозь годы. Оба были вспыльчивы, но Инквизитор был быстро отходчив и часто возобновлял беседу словами: «Ну что Вы, дуетесь до сих пор?». В общем, их диалог, можно сказать, носил игровой характер.

Судья, откашлявшись, спросил:

— Вот, я все никак в толк взять не могу… Долгие годы Церковь учила, что есть множество людских богов. Вы знаете самые популярные имена. Не буду здесь их приводить. Вот… — поглядев вдаль, он продолжил мысль. — А в последние годы все чаще я слышу мнение от разных церковников, что бог всего один есть. Так вот, разве это не есть ересь в стенах учреждения?

Инквизитор проследил за взглядом друга и неспешно принялся отвечать:

— Вопрос этот воистину интересный. Прежде всего надо обозначить, что является ересью… Ересь — это некое существенное отклонение от основ религиозного учения. С этим Вы вряд ли будете со мной спорить, друг мой. И внешне так и кажется, что есть у нас четко обозначенный пантеон божеств… Точнее, четко обозначается сам факт наличия такого пантеона — сам он имеет расплывчатые границы, и одни божества в него включаются, другие же исключаются от церкви к церкви. Это нормальная практика. На севере состав пантеона будет одним, на юге может быть другим. Могут быть схожие божества по функциям, скажем так, и где-то они исключают друг друга, а где-то, наоборот, дополняют, — Менсфельд смочил горло водой и продолжил: — Ну, мы не будем в это вдаваться подробнее. Нам стоит отметить, что есть, так сказать, расширенный пантеон, который включает подавляющую массу всевозможных божеств. Так вот, суждение о том, что бог всего один, — действительно подрывает основу церковного учения. И если придерживаться ортодоксальной позиции, то это самая натуральная ересь, и Инквизиция должна с ней бороться. Однако Церковь сейчас переживает свое «смутное время», и может так случиться, что точка зрения о едином боге может со временем канонизироваться, и тогда это уже не будет ересью. Такие дела, друг мой, — закончив монолог, Инквизитор облизал губы.

— Ага, значит, правильнее сейчас рассматривать это за ересь. Хорошо, — на этом судья хотел и закончить, любопытство было удовлетворено сполна. Однако, помыслив, что дорога предстоит еще долгая, задал дополнительный вопрос, чтобы скрасить время. Очень уж нравилось ему слушать ученые речи товарища. Он спросил: — А как может быть один бог и куда тогда деваются остальные боги? Как это устроено? В существовании отдельных божеств сомневаться не приходится — есть свидетельства и прочее. А как они доказывают наличие одного бога?

— Вам повезло, друг мой, что недавно у меня состоялась длительная беседа на эту тему с Матерью одной из церквей. Так что здесь мне действительно есть что Вам ответить. Ученые мужи, которые, к слову, еще не все отлучены от Церкви, пришли к… следующим выводам. Все известные и, видимо, еще неизвестные нам божества в их учениях выступают… аспектами единого божества — как бы его отдельными личностями. Они называют процесс разделения единого бога на множество божеств — эманацией, вроде. То есть они не отрицают наличия устоявшихся пантеонов — просто добавляют, что они есть суть собрания ликов одного и того же главного, высшего бога.

На этом Менсфельд хотел было закончить, но, видя устремленный на него взгляд друга, решил уточнить, есть ли еще вопросы. И судья спросил следующее:

— А если бы это была речь о человеке. Как бы Вы тогда это объяснили? Говоря не о высоком, а о нашем — земном?

— Ох, Фредерик. Человек не способен к этой так называемой эманации. Так что я не знаю, как на человеческом примере это объяснить…

— Объясните так, друг мой, как если бы человек был на это способен, — доброжелательно и ободряюще сказал судья.

— Хорошо… Представьте, что есть у нас человек. Он обладает знаниями кузнечного ремесла, умеет шить одежду и, скажем, любит рыбалку. Так вот, в ходе эманации из него выделятся следующие аспекты: человек-кузнец, человек-швея и человек-рыбак. Они могут действовать независимо друг от друга. Но будут продолжением все того же человека, который все это в себе содержал.

— А что тогда остается у этого человека после… этой… эманации? Неужели он больше не может ни ковать, ни рыбачить, ни шить? Чем же он занимается?

— Чем занимается… не знаю. Это отдельный момент, который стоит проработать адептам этих учений. Если бы был я человек и отдельно я Инквизитор, то… Нет, не смогу сформулировать. Простите.

— А как быть со злом и темными силами? Это тоже есть аспекты единого бога?

— Тут вопрос уже больше даже не религиозный, на мой взгляд, а философский. И разные еретические учения тут раскрываются по-своему. Одни говорят, что главный бог — хороший бог и покровительствует всему хорошему… Грубо говоря. А все плохое исходит от некой иной силы. Другие добавляют, что если наш бог только хороший — то непременно должен существовать не наш, темный бог, который тоже разделен на аспекты. То есть в первом случае у нас имеется противостояние благого бога и неведомой темной силы. Во втором случае — противостояние двух богов, светлого и темного. Однако примечательнее всего третий случай. Адепты некоторых учений утверждают, что добро и зло хоть и являются противоположностями, но исходят из одного источника. То есть у нас нет хорошего и плохого богов — а есть один бог, который содержит в себе и хорошее, и плохое и распадается на соответствующие аспекты. По долгу службы я не могу выражать симпатии этим учениям, и все они мною рассматриваются исключительно как случаи ереси. Пока Церковь не решит этот вопрос как-то… — Инквизитор так долго говорил, что у него язык стал заплетаться, и последнюю мысль он так и не смог оформить.

Дав другу возможность отдышаться, судья Тренн добавил от себя следующую мысль:

— Получается, с точки зрения одной из ересей, невозможно отвернуться от бога и его пути. Потому что кем бы ты ни был — защитником людей или подлым преступником, ты так или иначе соотносишься с каким-нибудь аспектом единого бога. И если Церковь сделает это частью канона, то значительно усложнится и моя работа. Я ведь опираюсь, как и Вы, на категории богоугодного и не богоугодного. И четко знаю, что, скажем, действие во имя спасения человека — есть богоугодное действие. А убийство — нет. Что же будет, если эта ересь распространится на Церковь? Страшно и подумать… На что тогда опираться при вынесении приговоров? На какие законы?

Тут Инквизитор, собравшись с последними силами, ответил:

— Стало быть, в таком случае, будет судья на стороне добра и судья со стороны зла — и они будут вести «сражение». У кого будет больше доказательств правоты своей позиции — тот и выиграет судебное дело. Конечно, мысль, что зло исходит от единого бога, как и добро, — удручает.

Ехать друзьям было еще долго. Их зачем-то вызвали в Тойн, в этот портовый город. И то, что понадобился представитель светской власти наряду с представителем власти духовной, было интересно; обещало интересный случай. Судью Тренна вызвали еще и потому, что он был отличнейшим детективом и до того, как начать выносить приговоры преступникам, лично занимался их ловлей. Инквизитора же вызвали из столицы, потому что дело, видимо, затрагивало как-то учение Церкви.

К выбеленной, опаленной церкви приближалась статная фигура. Это был лорд Морвен: высокий, прямой, лет пятидесяти на вид, с проседью на висках и спокойным лицом человека, который никогда не повышает голоса, потому что в этом не бывает нужды. Темный дорожный

плащ, застегнутый серебряной фибулой, колыхался на ходу, а шаги были мерными, без спешки, как будто он гулял по собственному саду, а не по деревне, где еще дымились остовы домов.

— Господа! — воскликнул он, открывая двери. — Пора возвращаться домой, — погодя добавил: — Вижу, вы собрали улов…

Гаспар, Ренье и Аврора повели каждый по пленнику. Они вышли из церкви следом за Отцом. Во дворе, на сером предрассветном свету, послышалось непонятное бормотание, и мародеры начали обращаться в породистых скакунов, теряя разрывавшуюся одежду. Тучный стал тяжелым гнедым жеребцом с тревожно прижатыми ушами, низкий — вороным, поджарым и нервным, высокий — серым, в яблоках, длинноногим, с тем же косящим глазом, что остался ему от прежней жизни.

Все сели на лошадей, кроме Авроры. Она обратилась в дым и словно бы растаяла в пасмурном небе. Всадники направились прочь от церкви, прочь от деревни — в сторону родного замка. Аврора, свысока следя за ними, летела вослед.

Глава 3

Горная крепость лорда Морвена совсем не походила на те замки, которыми принято пугать детей. Читатель, ожидающий от жилища упырей черных шпилей, летучих мышей под стропилами и вечно хмурого неба, будет разочарован, и я заранее прошу его не огорчаться. Крепость стояла на скальном уступе над ущельем и была сложена из серого, местами позеленевшего от сырости камня. Выглядела она так, как выглядят все хорошие крепости: приземисто, скучно и надежно. Две сторожевые башни, глухая стена, в которой ворота терялись, как рот в густой бороде, и единственная дорога, змеей взбиравшаяся на уступ, — по такой дороге любой незваный гость оставался на виду у караульных добрых полчаса и успевал десять раз пожалеть о визите. В долине внизу жили крестьяне, платившие лорду оброк и считавшие его строгим, но справедливым хозяином. Они и вправду имели основания так считать: лорд Морвен следил за этим особенно внимательно. Людям, живущим под боком у упырей, не должно приходить в голову, что их господин не так уж безобиден. Отсюда, собственно, и запрет на охоту на родных землях — «чтобы отвести беду от нашего дома».

Всадники поднялись по дороге уже после полудня. Три породистых скакуна шли тяжело и косились на седоков так, как косятся животные, еще помнящие, что они не вполне животные. Аврора опередила процессию и воплотилась у самых ворот: зеленовато-черный дым осел на камни, и из него вышла девушка в конопляном плаще, перехваченном ремнем на талии. Она встала в тени башни и принялась ждать остальных с видом человека, который пришел первым не из рвения, а потому, что ему так удобнее.

Во дворе лорд Морвен спешился и негромко произнес что-то, не глядя на пленников. Скакуны вздрогнули, один за другим согнулись, и на плитах вместо трех лошадей оказалось три голых мужчины, стоящих на четвереньках. Одежду они потеряли еще в церкви и теперь пытались прикрыться руками, но рук на все не хватало. Слуги, молчаливые люди, давно переставшие задавать вопросы, бросили им по куску рогожи.

— Нас что, в хлев? — прохрипел толстяк. Голос у него сел: ржать он, видимо, успел вволю.

— Почти, — весело ответил Ренье. — В загон. Но ты не расстраивайся, там сухо.

Загон находился под восточной башней — длинное полуподземное помещение с общей решеткой вместо двери, соломой на полу и каменным желобом вдоль стены. Там уже сидело человек двадцать: крестьяне прежних набегов, которым никто не объяснял, за что им такая участь, а они и не спрашивали. К новичкам они отнеслись без интереса — интерес в загоне выветривался быстро. Мародеры же смотрели по сторонам с ужасом, который, как известно, виднее всего у тех, кто еще не успел привыкнуть. Закрывая решетку, Ренье почувствовал на себе взгляд толстяка: тот смотрел на перстень, красовавшийся теперь на чужом пальце, но промолчал.

Обедали в большой трапезной, где стол, рассчитанный человек на тридцать, занимал почти всю середину, а камин в торце давал столько тепла, что у дальнего конца оставалось только мерзнуть из принципа. Собрался весь клан — в том числе и те его члены, чьи имена в нашем повествовании пока не пригодились и, возможно, не пригодятся никогда. Я упоминаю их лишь затем, чтобы за столом было кому смеяться, перебивать и просить передать соль.

На столе дымились жареные куры, запеченные с яблоками, кабанья ляжка, посыпанная чем-то острым, пироги с капустой, головки сыра и круглые хлебы. Мне могут заметить: помилуйте, упыри — и вдруг едят? А как же «исключительно кровью»? Ренье и правда уверял пленников, что голод и жажду они утоляют только ею, и сказал чистую правду: яства на этом столе голода не утоляли. Они его, если угодно, развлекали. Для упыря кусок жареной птицы — то

же, что для сытого человека песня: нужды нет, а приятно. Клан любил поесть так, как любят люди, у которых есть дело поважнее еды, — с аппетитом и без оглядки.

— Скакуны, надо признать, вышли лучше самих мародеров, — сказал кто-то слева от Морвена. — Тот, что потолще, всю дорогу хрипел под седлом, как кузнечные меха.

— А в человеческом виде он так же хрипит.

— Таких бы в обоз.

— В обоз нельзя. Съест весь овес.

Засмеялись. Ренье, набив рот пирогом, рассказывал соседке по столу, как «одним движением» связал всех троих. В его рассказе дело заняло секунд десять и не потребовало усилий; о том, что после он растекся по скамье, как масло по сковороде, Ренье умолчал.

— А Гаспар? — спросила соседка. — Он же дрался.

— Гаспар отбивался, — великодушно сообщил Ренье. — Геройски. Продолжительно.

— Ты хочешь сказать, что я…

— Я хочу сказать, что они тоже не умели. Так что вы друг друга стоили.

Гаспар буркнул что-то в тарелку. Аврора молча управлялась с курицей. Делала она это настолько сосредоточенно, что можно было заподозрить в ней человека, которому в жизни доверили одну-единственную важную задачу.

— Ты ведь была на поле? — спросил сидевший напротив упырь, из тех, кто любит знать новости раньше всех. — Говорят, там все усеяно.

— Была, — сказала Аврора.

— И как?

— Много мертвых.

Больше он ничего не добился и вернулся к вину.

Лорд Морвен сидел во главе стола и почти не ел. Он дождался, пока шум достигнет той высоты, на которой людям уже все равно, слушают их или нет, и негромко произнес:

— Господа.

Стол стих, как стихает ручей, когда его перекрывают ладонью.

— Я скажу несколько слов, пока вы не съели все, что способно помешать вам их запомнить. Наша кампания в этих краях окончена.

По столу прошел ропот. Морвен переждал его.

— Война уходит на запад. Королевские полки третью неделю тянутся по дороге в ту сторону, и вместе с ними уходят поля сражений, мародеры и неприятель, на которого мы два года так удобно списывали свои дела. Пока здесь ходили армии, исчезнувшая деревня была просто деревней, которой не повезло оказаться на пути. Но армии уходят. А на их место приходят сборщики податей, писари и королевские дознаватели — люди, которые считают. Считать деревни по головам они умеют лучше всех на свете. Сожженная деревня в тылу — это вопрос, на который кто-то обязан найти ответ. И я не хочу, чтобы этот кто-то искал его у нас на пороге.

Признаюсь, в военных делах я не силен и за точность этих соображений ручаться не берусь. Но лорду Морвену они казались достаточными, а он, в отличие от меня, жизнь на этом положил.

— Поэтому с сегодняшнего дня мы становимся тем, кем нас и привыкли считать, — законопослушными подданными короля. А законопослушные подданные, господа, рабов не крадут. Они их покупают. В городе, у торговца, с бумагой и печатью. Я хочу, чтобы у каждого человека в нашем загоне была бумага, где черным по белому сказано, что он куплен, а не украден. Тройка, которую вы сегодня привели, будет последней в своем роде. И с эльфами не связываться: торговля ими нынче вне закона.

— На какие деньги покупать? — спросили с дальнего конца.

— Два года войны были к нам щедры. С казной затруднений не будет, будут затруднения с ценой. — Он повернул голову. — Аврора.

Она подняла глаза от курицы.

— Ты отправишься в Тойн. Узнаешь, сколько нынче просят за рабов, много ли их в наличии и кто торгует. Ничего не покупай и ничего не обещай. Просто смотри и слушай. Двух дней должно хватить. Дымом, разумеется, не на лошадях.

— Хорошо, — сказала Аврора и откусила еще кусок.

Тойн. Она знала этот город сверху, как знает его всякий, кто привык видеть города по ночам. Она на мгновение перестала жевать, а потом продолжила.

— Гаспар, Ренье. Вы отправитесь в города, где нет порта. Гаспар — на север, Ренье — на юг. Работорговля там, скорее всего, хромает, и особых успехов я от вас не жду. Но знать наверняка хочу. Отсутствие товара — тоже сведения.

— А если там вообще ничего нет? — поинтересовался Ренье, не выпуская пирога.

— Тогда вы вернетесь и сообщите мне, что там ничего нет. Это, между прочим, настоящее достижение для человека, который отправлялся искать.

Гаспар все это время смотрел в тарелку. Он жевал не еду, а утренний разговор с мародерами, и от кабаньей ляжки, судя по всему, не получал никакого удовольствия. Читатель помнит: Гаспар из тех людей, которые застревают. И вот он поднял голову и спросил:

— Отец, позвольте вопрос. Вы всегда говорили, что война — благо для таких, как мы. Теперь, выходит, благо уходит на запад. Но я о другом. Она вообще — благо или нет?

Ренье вздохнул, как вздыхают люди, заранее знающие, чем все закончится, и вернулся к пирогу, не прислушиваясь к дальнейшему. Аврора вонзила зубы в куриную ножку. Лорд Морвен отложил нож. Он не нахмурился и не засмеялся: он слишком давно знал Гаспара.

— Для нас она была благом, — сказал он. — Но ты, насколько я понимаю, спрашиваешь о другом. Не о том, было ли нам удобно, а о том, благо ли война сама по себе. Однозначного ответа на это нет, Гаспар, и такого, на который можно было бы опереться, как на посох, тоже нет. Смотри. Победившей стороне война приносит земли, подданных, богатства. Это можно счесть благом без особых оговорок. Проигравшая же теряет то же самое, и для нее это зло. Победитель получает славу своему войску, побежденный — позор своему. Но и здесь не все просто. Земли, которые достались победителю, могут оказаться такого качества, что не окупят и затраченных усилий. Новые подданные могут не принять новой власти и устроить мятеж, и тогда придется воевать заново, только уже у себя дома. А людские потери? А разоренные поля, пустые города, казна, из которой вычерпано все до дна? Если сложить все вместе, победа порой выходит дороже поражения.

Ренье, не поднимая головы, пошевелил пальцем с чужим перстнем, словно проверяя. Перстень не жег. Морвен не говорил ничего, кроме правды. Впрочем, перстень — никудышный судья искренности: он ловит ложь, но не умолчание.

— Кто угодно, — продолжил лорд, — может сказать, что война — зло, исходя из своего положения, из идеологии, из философии, которую исповедует. И с тем же правом другой скажет, что она благо, опираясь на свое. Оба будут правы по-своему, и ни один не докажет другому, что тот ошибается. А если тебя интересует конкретно наша война, та, что мы ведем с соседним королевством, то ответ на это тебе дадут историки — и то по прошествии лет, когда страсти улягутся. И не жди, что ответ окажется однозначным. В жизни вообще мало что оказывается однозначным добром или злом.

— То есть неизвестно, — сказал Гаспар.

— Известно, что неизвестно, — ответил Морвен. — Это тоже немало.

Гаспар кивнул тем кивком, которым соглашаются, чтобы вернуться к вопросу ночью, лежа в постели. Аврора, прожевав, подумала, что война, уходящая подальше, — единственная хорошая новость за весь день. Война, которая не мешает жить, ее вполне устраивала.

Когда обед подошел к концу, слуги внесли серебряные кубки, наполненные кровью. Чья это была кровь, никто не спрашивал. Упыри принимали кубки с видом людей, которым нако-

нец подали то, ради чего они сюда пришли. Для чего им кровь, читатель уже знает от Ренье: она кормит их, утоляя и голод, и жажду, и возвращает магические силы, потраченные на колдовство. Ренье, например, пил медленно и вдумчиво, чувствуя, как возвращается то, что он отдал на путы в церкви. Гаспар закрыл глаза. Аврора пила, как и все. На блюде еще оставалась куриная ножка, и она забрала ее себе.

К Тойну судья и инквизитор подъехали с той стороны, с которой, по уверениям местных, подъезжают только неудачники и посыльные: по дороге, идущей мимо трущоб.

Сначала в нос ударил запах — рыба, гниль, дым очагов, смола и что-то еще, чему названия не придумали, потому что и так все понятно. Потом на слух: крики торговцев, лай, скрип блоков, и все это сливалось в ровный гул, как море, если бы море торговалось. Потом показались сами трущобы за городской стеной — лачуги из глины и дерева, нахлобученные друг на друга так, будто строили их в темноте и на спор. Тренн смотрел на них с лицом человека, который профессионально знает, сколько преступлений совершается в таких местах за одну ночь, и столь же профессионально не берется их пересчитывать.

— Так вот он каков, Тойн, — сказал Менсфельд, придерживая лошадь. — Говорят, здесь можно купить все, что угодно. Кроме совести: на нее нет спроса.

— Это Вы про город или про Церковь?

— Фредерик, мы еще не въехали, а Вы уже начинаете.

Внутри город оказался двуликим. Нижний, портовый, петлял улочками, которые, видимо, прокладывали пьяные: они сходились, расходились и упирались друг в друга без всякого смысла. Между крыш виднелся лес мачт, и вся эта путаница пахла солью. А над ней, на вершине холма, сиял Верхний квартал — с золотыми крышами, улицами по линейке и углами в девяносто градусов, будто эльфы, поселившись здесь, задались целью доказать миру, что хоть что-то на свете может быть построено правильно. Мимо провели вереницу людей, скованных одной цепью. Те смотрели себе под ноги. Тренн проводил их взглядом, Менсфельд нет. Тойн был одним из трех крупнейших центров работорговли на побережье, и в таком городе подобное зрелище не принято замечать — вовсе не потому, что его не видят.

Их ждали в доме городского совета, в белокаменном здании на самой вершине холма. У входа с двух сторон стояли паладины короля в полных латах, и стояли так искусно, что их можно было принять за статуи, если бы не пар, оседавший на забралах при каждом выдохе. Доспехи были подогнаны с такой точностью, что единственным источником скрипа во дворе оставались сапоги посыльного, а не рыцари. На груди каждого красовался королевский знак, на который судья смотрел с привычной почтительностью, а инквизитор — с привычным подозрением.

В зале заседаний за длинным дубовым столом сидело шестеро. Двое из них были эльфами из знатных родов и держались так прямо, словно стулья тоже изготовили по плану. Старшина совета, грузный человек с цепью на груди, под тяжестью которой он, казалось, ежеминутно прикидывал, во что обойдется этот разговор, начал без предисловий.

— Господа, мы вас ждали давно и предпочли бы встретиться при других обстоятельствах. За последний год в городе и в окрестных деревнях нашли столько мертвых детей, что я перестал держать их число в голове. Иссушенных. Не больных, не умерших с голоду — иссушенных, словно из них вынули все, что составляет жизнь, а оболочку положили на место. Родители спят и ничего не слышат. Утром находят в постели. Вчера привезли еще одного, из деревни, что в дне пути.

— Мы распорядились, — вставил один из купцов, — не хоронить, а везти в город. Чтобы было что показать.

— И не только у нас, — продолжил старшина. — Письма идут из других городов, и в каждом то же самое. На руках у детей порезы — мелкие, не смертельные. Мы просили у

короля человека, который умеет искать, — и Вас, судья Тренн, нам рекомендовали. А у Церкви мы просили того, кто объяснит, что это такое. Нам кажется, причина смерти не может быть естественной.

Менсфельд подался вперед.

— Вам кажется, господин старшина. Прошу, опишите, что именно вы видели.

Тот описал. Кожа сухая, как пергамент, глаза запали, весят тела меньше, чем должны, а крови на них нет — ни капли, ни пятна, хотя порезы есть. Инквизитор слушал, поджав губы, и, когда старшина закончил, сказал:

— Я не стану выносить суждение, пока не увижу тела. Но если все так, как Вы говорите, то я склонен с Вами согласиться: в природе так не бывает. Это работа магии. А где магия такого рода, там и те, кто пользуется ею во вред людям: отступники, безбожники, упыри — зовите как угодно. Те, кто сделал выбор против Церкви и против нас всех.

Совет закивал с видимым облегчением. Гораздо приятнее, когда у беды есть название.

Когда члены совета, пятясь, как люди, которым неловко поворачиваться спиной к бумаге, на которой могут написать их имена, покинули зал, судья и инквизитор остались вдвоем, если не считать паладинов у дверей. Но те умели быть мебелью.

— «Нам кажется», — передразнил Тренн. — Всю дорогу мне твердили, что в Тойне заседает совет людей дела. А пришли, поплакали и унесли мнение, что без магии не обошлось.

— Я бы не сказал, что поплакали. И в их выводах нет ничего дурного. Иссушенные дети, Фредерик. Вы знаете, что такое?

— Я знаю, что такое тела без причины смерти, друг мой. Это тела, причину смерти которых еще не нашли. Пока я их не увижу, я и слова не скажу про магию.

— Вам и не надо. Это я Вам говорю — и мне хватило слова «иссушены».

— Вам вообще хватает слов. Это основное свойство Вашей профессии. На слове «иссушены» Вы уже выстроили трех упырей, четырех отступников и один костер.

— А Вы, значит, пойдете смотреть, щупать, нюхать, опрашивать соседей, и пока будете этим заниматься, умрет еще десяток детей!

— Зато я буду знать, кого вешать. А Вы будете знать, кого сжигать, и, как показывает практика, ошибаться через раз.

Менсфельд побагровел.

— Вы, судья, самый упрямый осел, какого мне доводилось встречать. А я, смею Вас заверить, встречал одного епископа!

— При чем здесь епископ?

— При том, что он тоже ничего не желал видеть, пока ему не показывали! Вы — осел с дипломом, друг мой.

— А Вы — ходячий приговор в сутане! Вы не расследуете, Вы подтверждаете, и то лишь то, что вам заранее известно.

— А Вы — кабинетный сыщик, которому интересно только то, что лежит на столе!

Они замолчали, тяжело дыша, как два старых пса, не поделивших кость и вдруг обнаруживших, что кость давно съедена.

— Ну что Вы, дуетесь до сих пор? — спросил наконец инквизитор, уже мягче.

— Я не дуюсь, — сказал Тренн, дуясь.

— Пойдемте в управу. Вы будете смотреть, а я — подтверждать, что Вы смотрите не туда.

Управа городской стражи помещалась в низком каменном здании у подножия холма, там, где Верхний квартал уже перестает быть Верхним, а Нижний еще не успел стать Нижним. Начальник управы, сухощавый человек со шрамом на подбородке, видимо, оставленным не злоумышленником, а бритвой, провел гостей в ледник — подвал, вырубленный в скале. Там было холодно и тихо. На столах под простынями лежали тела, а вдоль стен на полках стояли

коробки с подписями: место, дата. На стене висела карта окрестностей с отметками — флажками, воткнутыми в деревни и города. Флажков было много. Тренн изучал ее несколько минут, сложив руки за спиной. Рисунка в расположении отметок не было, и это ему не нравилось.

— Этого привезли вчера, — сказал начальник управы и откинул простыню.

Мальчик лет пяти. Кожа сухая и тонкая, как старый пергамент, губы потрескались, глаза запали. Читатель, разумеется, знает, кто это и чьих рук дело. Мне порой хочется остановить судью, схватить его за рукав и сказать: «Вот она, ваша загадка, — в лесу под вашим городом, и зовут ее иначе, чем вы думаете». Но я лишь рассказчик, а судья Тренн — не читатель, и ему приходится начинать с пустого места.

Он наклонился. На обеих ручках — порезы, десятка полтора, мелкие, неглубокие, почти параллельные. Нож был маленький, очень острый, а рука, державшая его, не дрожала.

— Резали неторопливо, — сказал Тренн вполголоса, ни к кому не обращаясь. — Ни одного смертельного. Цель была не убить. Крови вокруг почти нет, кожа чистая, словно ее кто-то аккуратно убрал.

— Или выпил, — тихо сказал Менсфельд.

— Не будем гадать, друг мой.

— Не будем. — Инквизитор достал из рясы небольшую свечу, освященную в храме, и зажег ее от фонаря. — Огонь есть то, из чего вышли первые люди, и потому он чувствителен к тому, что с ним в ссоре. Этому учат на первом году.

Он провел свечой вдоль тела. Пламя съежилось, потянулось прочь, как от сквозняка, хотя в леднике не было ни малейшего движения воздуха, а затем погасло совсем.

— Это не болезнь, Фредерик, и не голод. Из него вынули не кровь, а жизнь. Это магия, и недавняя.

— Благодарю Вас, — сказал судья. — Теперь я знаю то, что мне сообщили еще утром. Это не доказательство, друг мой, а эхо.

— Это экспертиза.

— Это мнение, пахнущее ладаном.

Но он кивнул и накрыл мальчика простыней. Руки у него в этот миг двигались очень осторожно.

— Хорошо. Допустим. Тогда мне нужен не врач, а тот, кто это сделал.

— Я оставлю Вас с бумагами, — сказал Менсфельд. — Они Вам милее моего общества. А у меня дело в храме. Хотелось бы кое-что уточнить.

— Идите, идите. Передайте богам мой поклон.

Храм стоял в нижней части Верхнего квартала. Строили его, видимо, раньше, чем здесь поселились эльфы, и потому он смотрелся чуть кривовато, что, собственно, делало его единственным живым зданием на всей улице. Внутри пахло воском и старым дымом, у стен тянулись скамьи, а посередине, в каменной чаше, горел негасимый огонь. Над чашей с потолка спускался знак веры: языки пламени, расходящиеся в разные стороны, — олицетворение первородного огня, из которого, согласно учению, произошли первые люди.

Преподобная мать вышла к нему из бокового придела: невысокая сухая женщина лет шестидесяти, облаченная в рясу из небеленого льна, перехваченную алым шнуром, и в накидку цвета тлеющего угля, по краю которой золотой нитью были вышиты те же языки пламени. На груди у нее висел тот же знак, отлитый из меди и начищенный до огненного блеска. Она сложила руки и выжидающе посмотрела на гостя.

— Хотелось бы разобраться в вопросах ереси, — сказал Менсфельд. — Я инквизитор Менсфельд, — добавил он.

— В ереси, брат Менсфельд, не разбираются, — ответила она тем сухим, ровным голосом, которым говорят о погоде и о приговорах. — С ней борются. Разбираться в ереси — все равно что разбираться в сорняках, высаживая их на грядке.

— Но бороться, не понимая противника…

— Понимать — иное дело. Только не воображайте, что поняли. Что же Вас так заботит?

Инквизитор, который, как мы помним, был человеком разговорчивым, не заставил себя просить дважды. Он рассказал, что слышал недавно от одной Матери из столицы, и пересказал свою беседу с судьей, не пропустив ни кузнеца, ни швею, ни рыбака: как будто единый бог, эманируя, распадается на аспекты, подобно человеку, который, умея ковать, шить и ловить рыбу, выделил бы из себя кузнеца, швею и рыбака.

Преподобная мать подняла ладонь.

— Вот. В этом и состоит Ваша ошибка.

— Простите?

— Эманация — не деление. Деление — это когда от целого остаются куски. Эманация — когда целое остается целым. Свеча, зажженная от свечи, не становится ни короче, ни темнее: первая горит, как горела, вторая горит сама. В этом ересь и видит свое чудо. Единое, отдавая, ничего не теряет. Потому вопрос, который, как Вы пересказываете, задал Ваш судья, — что остается от человека после эманации? — поставлен неверно. Остается все. Человек-кузнец и человек-швея — не части человека. Они другие огни, зажженные от того же. Та Мать, что беседовала с Вами, была либо осторожна, либо неточна. Я не берусь судить, какая из двух бед хуже.

Менсфельд молчал.

— Отсюда и удобство учения, — продолжала она. — Если все божества — один огонь, то на кого ни молись, молишься всему. Как тогда отличить достойное от недостойного? Ересь отвечает, что никак. А Церковь отвечает: по цели. Но об этом позже.

Инквизитор продолжил: есть, насколько ему известно, два главных течения ереси по вопросу добра и зла. Согласно одному, добро и зло происходят из разных источников, и значит, существует добрый бог, который борется со злым. Согласно другому, источник один, бог один и един, а борьба идет между его аспектами.

— Верно, — подтвердила мать. — Обе ереси бесплодны, и обе упрямо живут. Церковь же учит иначе. Единого бога нет. Нет и доброго бога и злого бога как таковых. У всякой вещи в этом мире есть свое начало, а у начала — свое божество. Есть тот, кто покровительствует войне, и он не добр и не зол: он покровительствует войне, как мельник — помолу. Есть тот, кто покровительствует убийствам. Тоже не злой.

— Тоже? — переспросил Менсфельд.

— Тоже. Злым может оказаться обращение к нему. Церковь держит канон божеств, которых считает порядочными и в целом добрыми, чье покровительство людям ближе всего. Остальные не запрещены, но и не рекомендуются. А каким бы ни было обращение человека к божеству, у него должна быть одна цель — помощь людям. Солдат, молящийся покровителю войны о том, чтобы вернуть домой своих, — это достойное обращение. Тот же солдат, молящийся о том, чтобы вырезать соседскую деревню, — нет.

— Отсюда, надо понимать, и отступники.

— Отсюда они и есть. Отступники и упыри — те, кто поклоняется божествам, но наносит вред людям. Они не безбожники: они как раз богомольны, и в этом их беда. Безбожники — те, кто нарочно избегает поклонений и всяческих ритуалов, считая, что сами справятся с любой трудностью.

— Но тогда, — начал инквизитор, — если цель — помощь людям, а средство…

— Вы мне сейчас задаете вопросы судьи, а не инквизитора, — сухо заметила преподобная мать. — Идите, брат. У Вас дело. Нечего сидеть в храме, пока дети умирают.

Менсфельд поклонился и вышел на улицу. Огонь в чаше не шелохнулся.

Дорогой он думал не о детях и не об упырях, а о том, что его, Менсфельда, поправили. Давно уже не случалось, чтобы его поправляли в вопросах, где он считал себя знатоком, и

ощущение оказалось неожиданно приятным. Рассказывать ли судье? Решил — расскажет, но не сразу, и так, чтобы вышло, будто он давно это знал.

Глава 4

С высоты Тойн напоминал шкатулку, которую кто-то уронил: золотая крышка осталась лежать на холме, а все, что было внутри, высыпалось вниз и разошлось по склонам как придется. Аврора плыла над ним зеленовато-черным дымом, которому не нужны ни крылья, ни дорога, и никуда не торопилась. Вылетела она на рассвете, к полудню была на месте и все это время честно размышляла об отцовском поручении. Поручение, надо признать, было из тех, что редко приносят неприятности: никого не убивать, ничего не красть, а только смотреть и слушать. Бывает хуже.

Она опустилась в проулке за рыночной площадью, между бочками и стеной, спугнув кошку. Дым осел, и девушка в плаще, уже одетая — зачарованная кровью одежда возвращалась вместе с ней, — оправила капюшон и вышла на свет. Солнце стояло почти над головой. Ей оно не мешало.

Рыночная площадь Тойна представляла собой шум, в котором можно было найти все: рыбу, веревки, ножи, мед, ткани и людей. Пахло жареным мясом, гнилыми яблоками, смолой и чем-то сладким, чему Аврора названия не знала. Торговали громко, наперебой, с таким видом, будто покупателю делают одолжение. На Аврору никто не обращал внимания. Одним из достоинств плаща было то, что в нем она выглядела как человек, у которого нет денег, а значит, и повода на него смотреть.

Людьми торговали в дальнем углу, там, где площадь упиралась в портовую стену. Торговали буднично, как рыбой в соседнем ряду: помост, цепь, дощечки с ценами, выведенными мелом. Это, как ни странно, облегчало задачу. Ничего не приходилось выспрашивать, достаточно было идти вдоль рядов с видом покупателя, которому некуда спешить, и жевать. Жевала Аврора птичью ногу, купленную на два медяка у лотка при входе: запах оказался сильнее принципов.

Цены она запоминала с тем усердием, с каким дети запоминают то, за что потом не будут спрашивать. Здоровый мужчина для полевых работ шел за двенадцать золотых. Женщина для дома — за десять, если без изъянов. Подросток — восемь, если не слишком худой. Старики и больные уходили почти даром, но и брать их никто не хотел. Отец хотел бумагу с печатью; сколько она стоит, Аврора пока не знала. Запоминала она все, как запоминают запах.

— Новенькая? — спросил торговец цепями и ошейниками. Он сидел на ящике у края ряда и чинил звено, не поднимая головы. — Покупаете или просто глядите?

— Глядю.

— Глядеть можно, это бесплатно. Народ сегодня какой-то сам не свой, заметили? С утра шепчутся. Судья приехал.

— Судья?

— Из столицы. И инквизитор с ним. Вместе, да. Говорят, ругались еще в зале совета, на весь Верхний квартал. Прислуга слышала: судья назвал инквизитора ослом, а тот судью — ослом с дипломом. — Торговец довольно крякнул. — Так оно и бывает, когда власть собирается в одной комнате.

— А чего они здесь?

— Из-за детей, барышня. Вы что, не слыхали? Иссушенных находят. В постелях, сухих, как вяленая рыба, и ни царапины, кроме порезов на руках. Год уже. А вчера привезли еще одного, мальчонку из деревни. Совет не знает, что делать, вот и вызвал обоих.

Аврора кивнула и принялась разглядывать кость в своей руке. Слово «иссушенных» ей, как ни странно, понравилось: в нем была некоторая точность. Читатель и без меня знает, кого искали судья с инквизитором, а Авроре лишь стало любопытно, как это выглядит со стороны:

не каждый день узнаешь, что твоя работа вызвала целое расследование и две ссоры. Она сказала «спасибо» и пошла дальше.

Именно тогда она услышала голос.

Голос был женский, негромкий, с интонацией, которой не бывает у людей, привыкших просить. Он доносился с соседнего помоста, где торговец в смятой шляпе, щурясь от солнца, выводил на показ очередную партию. Аврора подошла на несколько шагов — не потому что что-то в голосе ее зацепило, а потому что остановиться ей было все равно негде, а тут хотя бы не толкали.

Покупательница оказалась старухой. Сгорбленной, худощавой, в потертом платье, которое болталось на ней, как на вешалке, с седыми волосами, убранными в тугой пучок. Ничего особенного. Но смотрела она странно: не на мужчин и не на женщин, а только на одну, и так смотрят не на товар, а на вопрос.

Рабыню звали Аннета. Это Аврора узнала из болтовни торговца. Тот нахваливал ее с жаром, достойным лучшего применения: «местная девчушка», «девица благородных кровей», «родная семья продала мне ее за немалые деньги», «я за нее заплатил двадцать золотых!» — и тут же прибавил, что с этой суммы его щедрость в обиду не пойдет. Двадцать золотых — вдвое больше того, что просили за женщину для дома. Значит, красива, подумала Аврора и посмотрела, чтобы проверить.

Девушка стояла чуть в стороне от остальных, и ее, видимо, только что вытащили вперед за руку. Волосы у нее были медно-рыжие, длинные, спутанные, но даже спутанные они лежали так, что хотелось не расчесать, а оставить. Кожа светлая, с редкими золотистыми точками на скулах и плечах, которые солнце, судя по всему, высыпало щедрой рукой. Лохмотья на ней были такие, что на лохмотья и не тянули: грязь, которая когда-то была платьем. Она не опускала головы. Руки у нее дрожали, но она их не прятала — так держатся те, кого с детства учили, что стыд есть форма поражения.

— Но у меня есть несколько условий, — говорила тем временем старуха. — Первое совсем несложное. Ее лохмотья мешают мне оценить товар полностью. Я хочу удостовериться, что ее не били и что она здорова.

Торговец, разумеется, не возражал. Он щелкнул пальцами, и двое рабов, давно, по-видимому, привыкших делать то, что от них требуют, поспешно сорвали с Аннеты то, что на ней было.

Аврора не отвернулась. Она потом долго пыталась понять, почему.

Вокруг помоста собралось человек пятнадцать зевак; кто-то свистнул, кто-то хохотнул. Аврора ничего этого не слышала. Она видела только, как рыжие волосы упали на грудь и ничего не прикрыли. Тело у девушки было из тех, что художники рисуют, а потом не показывают заказчикам: не худое и не пышное, а в меру, как ровно сваренное. Плечи — тонкие, с острой линией ключиц. Талия — такая, что ладонь, наверное, обхватила бы ее без труда. Бедра — плавные, с мягким изгибом, от которого взгляд почему-то начинал спотыкаться. Кожа в полуденном свете казалась почти прозрачной, а ниже живота, где золотистые точки сходили на нет, лежала такая светлая тень, что ее хотелось рассмотреть поближе и тут же стыдно было признаваться себе в этом желании.

Внешне Аврора никак не выдала своего волнения. Тот, кто увидел бы ее со стороны, заметил бы только скуку: девушка в плаще, с обглоданной костью в руке, смотрит на рабыню так, как смотрят на лошадь, о которой уже все ясно. Внутри же происходило нечто, чему она не знала названия. В животе стало тепло, в голове — тесно. А щеки… Вообще-то у упырей кровь к щекам не приливает, и Аврора могла бы поклясться, что это известно всем. Но что-то приливало.

И еще одно. Ей вдруг захотелось закрыть девушку плащом, от толпы, от свиста и чужих взглядов. И так же отчетливо, так же внятно, как первое, пришло второе: она хотела остаться последней, кто на нее смотрит.

Она не знала, что с этим делать, и потому ничего не сделала.

— Вторым и последним условием будет следующее, — продолжала старуха, словно ничего не произошло. — Если кто-то заинтересуется судьбой этой рабыни, направляйте их в городские трущобы, к дому возле старой мельницы.

— Хорошо, я буду сообщать об этом тем, кто решит проявить неравнодушие, — отозвался торговец, кивая.

Мельница, подумала Аврора. Трущобы. Она запомнила это так же, как запомнила цены, не собираясь, впрочем, ничего с этим делать.

Старуха заплатила. Торговец заглянул в кошель, потом в лицо старухи, потом снова в кошель и сказал «эм» и «кхм», а потом, кажется, что-то про «ровно вдвое» и «как это возможно». Старуха назвала это чудом и попросила вернуть кошель, потому что другого у нее нет. Аврора отметила про себя, что деньги из воздуха не берутся, но мысль не задержалась: старуха взяла рыжую за веревку и повела прочь, погладив ее по волосам.

Погладила. Просто так, одной рукой, как гладят собаку.

Внутри Авроры что-то кольнуло, и это была не жалость. Это была зависть — густая, чистая, почти детская, какая бывает, когда на твоих глазах чужой человек получает то, что хотелось тебе, и даже не понимает, чего ему досталось. Сорок золотых за одну рабыню — Отец, с его печатями, счел бы такую цену неприличной. Но Отца здесь не было. А вот рыжие волосы уходили в толпу, и толпа смыкалась за ними.

«Ничего не покупай и ничего не обещай», — вспомнила она. Купить, впрочем, она бы все равно ничего не успела: пока она приходила в себя, старуха и ее покупка скрылись за последними палатками.

Тогда она и позволила себе подумать.

Не о том, как это было бы по-настоящему: об этом она, при всем воображении, представления не имела. Опыта у нее не было никакого, ни с людьми, ни с эльфами, ни с кем-либо еще, что, впрочем, никогда не мешало воображению. Она представила комнату — не крепостную, с каменной сыростью и отцовскими гобеленами, а какую-нибудь другую, с низким потолком и одной свечой. Рыжая лежит поперек постели, босая, и волосы рассыпаны по подушке так, будто их там забыли. Аврора садится на край, не снимая плаща, потому что не знает, что делать с руками, а девушка не отодвигается. Потом отодвигается, чуть-чуть, освобождая место, и это уже совсем другое. Дальше воображение Авроры, не обремененное опытом, действовало как неопытный художник: детали выписывало тщательно, а то, что среди них происходит, оставляло в полутьме. Теплая ладонь на щеке. Веснушки на плече, которые можно пересчитать губами, — дошла бы она до конца? Вряд ли, сбилась бы на третьей дюжине. Тихий, глупый смех, не рабский. Платье, которое развязывается само, потому что завязки в ее воображении были на удивление сговорчивы.

Не то чтобы воображение ограничивалось одними девушками: к полу прохожих оно относилось демократично, но этого Аврора у себя не замечала. Замечала она другое: в ее фантазии рабыня почему-то не была рабыней. Она улыбалась по собственной воле. Аврора, при всех своих привычках, прекрасно понимала, что это обман, и не мешала себе обманываться. Странное дело: убивать детей ей казалось делом житейским, а представить, что касаешься чьей-то щеки без причины, оказалось страшнее.

Она очнулась от того, что кто-то толкнул ее в спину и сказал «простите, барышня». Костяшка птичьей ноги была обглодана до блеска. Аврора не помнила, когда успела.

Первую ночь она провела на крыше складской башни в порту. Там было ветрено, зато никто не задавал вопросов. Она лежала на спине, смотрела на звезды, проступавшие между

облаками, и честно пыталась думать об Отце: о его бумагах и печатях и о том, что в этом, как ни странно, было здравое зерно — законопослушный упырь не вызывает вопросов, а упырь, не вызывающий вопросов, живет долго. Получалось плохо. Рыжие волосы лезли в мысли о печатях и в конце концов побеждали.

Второй день она решила провести как положено. Торговые дома стояли вдоль порта, как гири на одной стороне весов, и она обходила их один за другим. Здесь не кричали, а говорили, и торговцы, привыкшие к покупателям с деньгами, встречали ее с вежливостью, равной цене того, что она могла бы купить.

Первый, пожилой, с аккуратной седой бородкой, объяснил, что каждая продажа заносится в книгу магистрата, печать стоит три золотых сверху, и без нее порядочные люди не покупают. Второй предложил партию из тридцати голов, но с условием, что брать надо всех сразу. Третий отвечал на все вопросы так уклончиво, что она заподозрила: либо он что-то прячет, либо не знает цен. Либо то и другое.

На третьем она спросила про эльфов.

Отец упоминал, что с эльфами связываться нельзя, а Авроре, как всякому нормальному человеку, захотелось узнать почему. Торговец, молодой, с проворными руками, оглянулся и придвинулся ближе.

— Тише, барышня. Эльфов нельзя. С недавнего времени. Раньше шли дороже людей: живут долго, служат долго, на здоровье не жалуются. А потом Верхний квартал сказал «хватит». Они ведь не просто так там сидят, барышня. Их роды сюда пришли после Великого прорыва, когда земли выгорели, а чинить их стало слишком дорого. Вот они и решили, чтобы своих больше не продавали. Совет, понятное дело, поклонился: у Верхнего квартала деньги и уши совета, а у совета — только уши.

— А те, кого уже привезли?

— В том-то и дело. Закон вышел, а у некоторых товар уже стоял на складах. Кто-то продал тихо и вовремя. А кто-то попался, и теперь половина Верхнего квартала ходит по лавкам и спрашивает, чьи это были. Была там одна семья из знатных, торговала партией молодых эльфов, и, говорят, шуму от этого шло на весь город. Чья именно, не скажу. У меня одна голова.

Аврора кивнула и подумала, что Отец, как ни странно, оказался прав. Это случалось нечасто, и потому каждый раз немного обижало.

К вечеру она знала все, что требовалось: цены, наличие, условия, бумаги. Торговцев, у которых клан мог бы покупать «товар» вместо набегов, в Тойне оказалось с избытком, и единственным недостатком было то, что платить придется. Мысли ее, как водится, давно были не здесь. В одной из партий мелькнула рыжеватая девушка, и Аврора, сама того не желая, остановилась и смотрела на нее добрых полминуты, пока не поняла, что цвет не тот, лицо не то и вообще это совсем не она. Разочарование оказалось таким глубоким, что она вышла из лавки не прощаясь.

Вторую ночь она тоже провела на крыше. Отец сказал «двух дней должно хватить», а такие слова Аврора, как и многие дочери, давно научилась читать как пожелание. К утру она решила, что для надежности стоит еще раз обойти пару торговых домов, а заодно присмотреться к Верхнему кварталу, раз уж она здесь. Звучало это так убедительно, что она почти поверила.

Третий день вышел короче остальных. С двумя торговцами она поговорила, ничего нового не узнала, а к закату ноги сами принесли ее в Верхний квартал, как приносят домой лошадей, не спрашивая седока.

Он оказался таким, каким она его запомнила сверху: улицы по линейке, дома с золотыми крышами, эльфы, шедшие по мостовой так, будто мостовую выстроили по их шагам. На закате золото крыш темнело до меди. Аврора поднялась на крышу чьей-то конюшни, откуда

был виден большой дом с освещенными окнами и каретами у крыльца, и осталась там сидеть, поджав колени, как человек, который не знает, чего ждет, но твердо уверен, что дождется.

К вечеру дом Рейнарда было не узнать. В холле зажгли все люстры, по лестнице расстелили ковер, который обычно хранился в сундуке, а слуги ходили быстро и бесшумно, как ходят люди, которым строго-настрого велели ничего не уронить. В столовой накрыли длинный стол: белая скатерть, серебро, цветы в таком количестве, что Бельва про себя назвала их «избытком». Знатный ужин, как объяснил Рейнард, — это когда люди, терпеть друг друга не могущие, садятся за один стол и делают вид, что рады.

Платье на ней было новое, темно-зеленое, и тоже купленное Рейнардом. Бельва давно поняла, что юноша находит в этом особую радость, и не возражала: чем больше он вкладывает, тем труднее ему будет усомниться. Она стояла перед зеркалом, и девушка в отражении, рыжая, светлокожая, с нежным румянцем, смотрела на нее без всякого выражения. Кольцо на пальце по-прежнему не снималось.

«Они меня продали», — сказала Аннета где-то внутри. Не громко, ровно, как говорят о погоде.

«Я знаю, девочка».

«Тогда зачем тебе с ними говорить?»

«Затем, что, кроме тебя, у них в этом доме никого нет, и они это знают. Помолчи, будь добра. Я справлюсь».

Аннета замолчала, но не потому, что согласилась.

Гости съезжались около часа. Судовладелец с женой, фигурой напоминавшей хорошо построенный корабль. Старая вдова с лорнетом, который она держала так, будто собиралась ткнуть им в собеседника. Молодая пара, обсуждавшая чью-то свадьбу так громко, что от тишины, наступившей при появлении эльфа, оба вздрогнули. Эльф был высок, неподвижен и казался лет сорока, хотя, как шептали за спиной, был старше этого дома, этой улицы и, возможно, самого холма. Его род, Аль'Рэ, первым поселился в Тойне, и держался он соответственно: без высокомерия, но так, словно высокомерие не требовалось. С ним пришла жена, такая же тонкая, такая же спокойная, и они сели вдвоем в конце стола, как два столбика, отмечающих границу.

Валтены приехали последними.

Бельва заметила их, едва они вошли. Мужчина — сухой, прямой, с лицом, обученным не выдавать себя ни одним мускулом. Женщина — полная, в слишком туго затянутом платье, и глаза у нее все время искали, куда бы спрятаться. Они остановились у дверей, и женщина прижала ладонь ко рту.

Сердце Аннеты — сердце, которое Бельва знала теперь изнутри, как знают чужой дом, — рванулось так, что она на секунду потеряла равновесие. Тело предавало. Бельва держалась за спинку стула, пока оно успокаивалось, и думала: «Каково, оказывается, иметь мать».

Рейнард, мягко, как умеют только очень воспитанные юноши, увел их в малую гостиную, куда подали чай и закрыли дверь. Говорить, видимо, предстояло долго.

— Аннета… Доченька…

Мать потянулась к ней, и Бельва позволила себя обнять. От женщины пахло лавандой, и где-то в глубине, в кольце, что-то сжалось от этого запаха так, что почти стало слышно.

«Мама пахла так всегда», — сказала Аннета тихо, и это была не обвинительная нота, а что-то другое, чего Бельва не умела назвать.

— Нам нужно поговорить, пока нас не позвали, — отрывисто произнес отец. Он стоял у камина, не присаживаясь. — Рейнард сказал, что ты… что тебя нашли в трущобах.

— Меня продали на рынке, — спокойно ответила Бельва. — Вы помните, наверное.

Мать всхлипнула. Отец выдержал паузу.

— Мы были в долгу. После истории с поставкой… Ты знаешь, что поднялось. Совет требовал выплат, эльфы требовали наказаний, мы едва не лишились всего. Мы собирались вернуть тебя. Через месяц. Как только…

— Двадцать золотых, — сказала Бельва.

Он замолчал.

— Столько заплатил торговец, отец. Он гордился этим на весь рынок. Двадцать золотых за дочь. Я, признаться, ожидала большего. — Она улыбнулась так мягко, что мать невольно подалась назад. — Я не упрекаю. Просто считаю.

— Мы думали, ты красива, — сказала мать, и голос ее сломался. — Мы думали, ты быстро найдешь хорошего хозяина, и тебя не будут обижать. Мы не хотели…

«Врет», — подумала Аннета.

«Она и сама не знает, врет или нет», — ответила Бельва. «Это и есть самое страшное».

— Что ты рассказала Рейнарду? — спросил отец. Он наконец сел, и стало видно, как у него дрожат пальцы.

— Правду. Что вы продали меня, чтобы спасти семью от долгов и позора. Что меня выкупила женщина, добрая старуха, которая дала мне кров, хлеб и разговоры. Что она умерла в ту же ночь, и утром я нашла ее мертвой, и мне некуда было идти.

Каждое слово было правдой. Она получила от этого почти физическое удовольствие: сказать о себе самое приятное, что о ней когда-либо говорили, и не покривить душой. Правда, не вся. Но всякий, кто хоть раз лгал по-настоящему, знает, что лучшая ложь составлена из правды, пропущенной через нужное сито.

— И больше ничего? — спросил отец.

— Больше ничего.

Он выдохнул, и мать заплакала. Бельва смотрела на них спокойно, с видом человека, который прощает. Люди, продающие дочерей, были для нее чем-то вроде погоды, а на погоду не сердятся. Но она отметила, как легко им стало дышать, и подумала: полезно, когда тебе должны. Как распорядиться этим долгом, она пока не знала и решила не распоряжаться.

«Мама…» — шепнула Аннета, и Бельва впервые за эти дни почувствовала, что не может заставить ее замолчать.

— Пойдемте, — сказала она вслух и встала. — Нас ждут.

За столом разговоры шли той дорогой, какой они идут на знатных ужинах: через погоду и корабли к судьбам королевств. Судовладелец говорил, что война откатывается на запад, а значит, дороги станут спокойнее и торговля оживится. Вдова с лорнетом уверяла, что вместе с войной уйдут и неприятности, а молодой человек напротив неосторожно поинтересовался, с чего она взяла. Вдова навела на него лорнет и сообщила, что в ее возрасте уже не нужно знать, с чего, достаточно того, что так бывает.

— Говорят, из столицы приехали судья и инквизитор, — вдруг сказала жена судовладельца и понизила голос, хотя ее и без того слышали все. — Из-за детей.

— Из-за детей, — подтвердил кто-то.

— Это ужасно, — вздохнула молодая женщина.

Бельва, которая до сих пор вполуха слушала разговор и кивала там, где требовалось, вдруг почувствовала, как внутри что-то стягивается. Инквизитор. Слово не из тех, что произносят легко, и она давно привыкла платить за каждую встречу с теми, кто им владеет. Она ничего не показала, только чуть опустила взгляд и отпила воды.

«Тебя это беспокоит», — заметила Аннета. В голосе не было злорадства. Скорее любопытство.

«Меня беспокоит все, что может помешать», — ответила Бельва.

Эльф, до сих пор молча резавший мясо с той аккуратностью, с какой режут то, что надо будет потом описывать, поднял глаза.

— Рад видеть вас, господин Валтен, — произнес он негромко. — Мы так давно не встречались вне стен совета.

Отец Аннеты побледнел так, что заметили даже те, кто смотрел в тарелку. Рейнард поспешил заговорить о вине, а его мать поддержала с такой горячностью, что стало ясно: она все понимает и не желает этого видеть. Эльф кивнул, вернулся к мясу и больше не сказал ни слова.

Когда ужин перешел к той стадии, на которой гости начинают смотреть на часы, а хозяева — делать вид, что не замечают этого, Бельва тихо отодвинула стул.

— Простите. Мне нужно подышать.

— Я пойду с тобой, — сразу поднялся Рейнард.

— Не нужно. Я хочу немного побыть одна. Мне нужно… подумать.

Он замялся, но уступил.

— Только недалеко. В Тойне по ночам бывает всякое.

— У меня есть чем себя защитить, — улыбнулась она. И это тоже была правда.

Вечерний воздух, холодный и чистый после нагретой столовой, ударил в лицо, как ладонь. Верхний квартал в этот час был пуст и тих: линии улиц, фонари, золотые крыши, потемневшие до меди. Она шла неторопливо, и мысли строились сами собой. Рейнард — воск, мягкий и податливый. Его отец — жернов, но и жернова можно обойти. Эльф — дверь, за которой лежит то, ради чего она затеяла все это. А судья и инквизитор — тень, которую, если та приблизится, придется прятать.

«Ты опять меня не слушаешь», — сказала Аннета.

«Я всегда тебя слушаю, девочка. Просто не отвечаю».

Кольцо слабо кольнуло. Не от злости, подумала Бельва, а как будто предупреждая. Она не придала этому значения.

Рыжая вышла из дома одна.

Аврора увидела ее с конюшенной крыши: дверь отворилась, на крыльцо упал прямоугольник света, и в нем возникла девушка в темно-зеленом платье, с волосами, собранными теперь иначе, чем позавчера, и от этого, как ни странно, более рыжими. Старухи рядом не было. Девушка шла неторопливо, без веревки на руках, и не так, как ходят те, кого привели покупать, а так, как ходит человек, у которого в голове счеты.

Аврора сползла с крыши по водосточной трубе, как умеют сползать те, кого никто никогда не искал, и пошла следом.

Она сама не сразу поняла, что остановило ее на полпути. Жизнь в человеке, как знала Аврора по опыту, звучит — если вслушаться, конечно, — как струна: у каждого своя нота. У детей высокая и нетерпеливая, у взрослых плотная, у стариков дрожащая и сухая. Девушка в зеленом платье, проходя под фонарем, звучала сразу двумя. Одна была молодая, звонкая, но глухая, как будто ее накрыли стеклом. Другая — старая, цепкая, тугая, как корень, который вцепился в камень и не собирается его отпускать. Вторая держала первую, как рука держит рот.

Так не бывает, подумала Аврора. В одном теле — одна жизнь. Исключений она не знала, хотя за время охоты насмотрелась на разное. От рыжей не пахло старухой — звучало старухой. И внутри этого звучания что-то металось, как птица в закрытой комнате.

Ей стало любопытно. Чувство это она за собой замечала нечасто и потому ходила за ним осторожно, как за пугливым зверьком.

Улицы в Верхнем квартале были пусты, и укрыться на них было негде: прямые углы, фонари на равных расстояниях. Аврора держалась в тени карнизов и на поворотах давала девушке уйти вперед. Спешка выдает охотников быстрее, чем запах.

«За нами идут», — сказала Аннета.

Кольцо кольнуло снова, уже не слабо.

Бельва остановилась у витрины закрытой лавки и сделала вид, что поправляет прическу. Отражение показало ей улицу за спиной: пустую, освещенную, с одной темной полосой у карниза, которая была не совсем той, что нужно. «Инквизиция?» — подумала она и тут же отбросила мысль. Инквизиторы не ходят в одиночку и не прячутся у карнизов. Те, кто так ходит, охотятся.

«Любопытно», — ответила она Аннете и свернула в переулок.

Переулок был узким, и в конце его, за каретным сараем, открывался тупик: маленький двор с колодцем и тремя глухими стенами. Бельва вошла в него, прижалась к стене у входа и замерла. Слова она приготовила заранее. Они вынашивались долго и стоили дорого, и расходовала она их скупо, как скупой расходует золото.

Аврора вошла в тупик минуту спустя. Двор был пуст. Она остановилась, огляделась, и в этот миг за спиной кто-то негромко произнес несколько слов.

Слов она не поняла. Они были не похожи ни на то, что она слышала от Отца, ни на то, что произносят люди, когда зовут друг друга. Каждое звучало так, будто его вытесали из камня: с усилием, с напором, со следами инструмента. В них чувствовалось, сколько они стоят.

Потом воздух стал глиной.

Она не могла шевельнуться. Не заставила себя, не сопротивлялась, а просто не могла: ни пальцем, ни веком, ни плечом. Дыхание шло, глаза видели, но все остальное принадлежало теперь кому-то другому. Она попыталась обратиться дымом, и из этого тоже ничего не вышло: дым, оказывается, тоже требовал, чтобы им управляли, а ей управлять было нечем.

Страх пришел не сразу. Сначала пришла мысль, чистая и ясная, как в детстве: «Как это делается?»

— Ты шла за мной от самого дома Рейнарда, — сказали за спиной.

Голос принадлежал девушке, но интонации были чужими: ровными, насмешливыми, обточенными годами. Говорила она так, как говорят люди, которым давно не нужно повышать голос. Рыжая вышла из тени и встала перед Авророй, на расстоянии двух шагов. Свет из окон соседнего дома лег ей на лицо, и Аврора увидела глаза, в которых было что-то слишком старое для двадцати лет.

— Язык я тебе оставила, — продолжила Бельва. — Мне нужны ответы, а не крики. Кто тебя послал? Инквизиция?

— Нет.

— Тогда кто?

— Никто.

— Никто не ходит за девушкой по ночам без причины.

— Я ходила.

Бельва прищурилась. На губах ее мелькнуло что-то среднее между усмешкой и недоверием, и на мгновение в лице девушки проступило лицо кого-то совсем другого.

— Любопытная. Ну-ка. — Она подошла ближе и взяла Аврору за подбородок, как берут лошадь, когда хотят осмотреть зубы. Пальцы были теплыми. — От тебя пахнет чужими жизнями, давними, въевшимися. Упырь. Я думала, вы давно вывелись.

— Не все, — сказала Аврора, которая не знала, что еще сказать.

— Это я вижу. Чего ты хочешь от меня?

Аврора помолчала. Врать сейчас не имело смысла, а правду ей никогда не приходилось произносить вслух.

— Вы были на рынке. Я видела, как вы ее купили.

Бельва застыла. Потом тихо рассмеялась, коротко, будто кашлянула.

— Вот оно что. Красота. Всегда красота. И ради этого ты ползаешь по крышам?

— Я не планировала.

— Это видно, — согласилась Бельва, и в голосе ее прозвучало что-то вроде жалости. — Бедняжка.

Аврора, неподвижная, как столб, впервые за долгое время ощутила стыд. Не страх, не злость, а то неудобное, липкое чувство, которое возникает, когда чужой человек в двух словах разбирает тебя на части и складывает обратно. Стыдно было не за желание, а за то, что оно оказалось таким простым.

— Тем лучше, — продолжила Бельва. — Хотя бы не охотница за моей головой. Но скажи, девочка, ты ведь та, кто убивает детей?

— Я не…

— Не лги мне. — Улыбка исчезла. — Говорят, в городе кто-то иссушает детей. Говорят, из-за этого приехал инквизитор. Мне, откровенно, безразличны чужие дети, но я не терплю, когда рядом охотятся: охота привлекает охотников. А я в этом городе собираюсь жить. Долго. Я не люблю хвосты, девочка.

На раскрытой ладони Бельвы возник огонек. Он был маленький и белый, и когда он разгорелся, воздух во дворе затрещал, а темнота у стен отступила.

— Я испепелю тебя. От тебя не останется даже горсти.

Вот теперь страх пришел.

Он был не таким, каким Аврора себе его представляла. Не боль и не смерть пугали ее, а то, что на этот раз перед ней стоял не ребенок. Всю жизнь, сколько себя помнила, она выбирала тех, кто не может сопротивляться, и ни разу не встречала того, кто может. Внутри она была слаба, это она знала давно, а теперь это стало видно со стороны, как ясно видна трещина в стене, когда в нее попадает свет.

Магия, державшая ее, была иной. Аврора чувствовала ее, как чувствуешь холодное железо: она не росла сама, ее вырезали, выточили, она впиталась в каждую жилу, и каждое слово на ней оставило след. Выстраданная магия. Та самая, которой она в душе так завидовала. Теперь она стояла рядом и собиралась ее убить.

Она боялась ее. И хотела такую же.

Оставался костыль.

Она не прикоснулась. Ей и не требовалось. Она посмотрела в глаза, в которых жила старуха, и потянула — так, как умела с рождения, не учившись и не заслужив: просто потянула.

Эффект был мгновенным. Огонек в ладони Бельвы дрогнул, как свеча на сквозняке. Лицо ее изменилось, и на нем отразилось сначала удивление, затем что-то похожее на ужас.

— Ты… как?

Она ответила паутиной новых слов, быстрых и злых. Хватка на Авроре усилилась. Огонь вырвался из ладони белой кистью и ударил в грудь — не снаружи, а изнутри, там, где у других людей душа, а у нее что-то, чему она не знала названия. Аврора услышала собственный вздох, больше похожий на всхлип. Но не отпустила.

Они стояли друг против друга в тупике, где пахло конюшней и сырым камнем: одна неподвижная, другая с протянутой рукой, и между ними шла невидимая борьба, в которой никто не двигался. Аврора тянула. Бельва держала. Каждая на пределе. Каждая знала, что стоит чуть ослабить хватку, и все закончится.

И тогда на Аврору хлынула чужая жизнь.

Она не просила об этом и не знала, что так бывает. Вместе с силой, которая текла к ней, как вода по трубе, шло и все остальное. Холодный каменный пол монастыря, который она, маленькая, скребла на рассвете, ободрав пальцы. Умирающий старик на узкой койке, закашлявшийся кровью, и книга, тяжелая, как наковальня, которую он вложил ей в руки. Буквы, от которых слезились глаза, и ночи, ночи, ночи над ними, годы ночей. Ложе другого старика, правителя, с ее руками на его запястьях. Площадь, пылающая от костров. Нож, входящий в горло, и лицо девушки, снизу вверх глядящей с тем же самым последним выражением, и дру-

гая девушка, и третья, много их, и в каждом зеркале другое лицо. Одиночество, как застарелая болезнь. Столетия цены, заплаченной сполна.

Все это не просто текло в нее — оно обжигало. Каждая картинка вставала в душе, как раскаленное клеймо, поставленное не на кожу, а ниже. Аврора закричала бы, если бы могла.

«Нет, — сказала Бельва где-то внутри, голосом, в котором уже не было ни насмешки, ни старой отточенности. — Нет, нет, я не… это мое тело…»

«Я здесь, — ответила Аннета. — Я все еще здесь».

В тот миг Аврора заметила странное. Часть силы, которую она вытягивала, не доходила до нее. Она сворачивала в сторону, к левой руке рыжей, к кольцу на пальце, которое вдруг вспыхнуло тусклым ржавым светом, как будто кто-то поставил под поток ковш. Аврора не делала этого нарочно. Она не знала, что это возможно, и вряд ли смогла бы объяснить, почему так вышло. Потом, много позже, она думала об этом и не нашла ответа. Но в ту секунду, когда свет перелился из старого в молодое, что-то в звучании двух жизней качнулось и поменялось местами.

Старая, тугая нота сломалась, потускнела и утонула в кольце, как камень в воде. Молодая, глухая, вдруг очистилась и зазвенела.

Хватка исчезла. Воздух перестал быть глиной.

Аврора рухнула на колени, упершись руками в холодные камни. Внутри все горело, дышать было больно, и каждый вдох отдавался так, словно ее ударили по ребрам. Она подняла голову.

Девушка в зеленом платье стояла, глядя на собственные руки. Лицо ее изменилось: не чертами, а тем, что стояло за ними. Из него ушла старуха. В нем осталась молодость, смятая, перепуганная, только что вернувшаяся домой и еще не знающая, как в нем жить.

— Мои руки, — сказала она хрипло, голосом, который давно не пользовался собой. — Это… мои.

Она подняла глаза на Аврору. Те самые глаза, которые Аврора видела позавчера на рыночной площади, и теперь в них не было ничего, кроме потрясенной, почти детской благодарности.

— Вы… — Аннета сделала шаг. — Вы меня… Я все слышала, я была там, в кольце, я… Кто вы?

Аврора не могла ответить. В голове пульсировало, как после кузнечного молота. Она видела рыжие волосы в желтом свете, веснушки на скулах и дрожащие губы, и понимала, что стоит ей остаться еще на минуту, и она либо упадет, либо скажет что-нибудь, чего потом нельзя будет взять назад. Она не умела, чтобы ее благодарили. Она не знала, что с этим делать.

— Подождите! — крикнула Аннета. — Пожалуйста, я хочу…

Зеленовато-черный дым поднялся над камнями, закрутился спиралью и ушел в небо, оставив на брусчатке только запах гари.

— Спас… — выдохнула Аннета в пустоту.

Остальное досказывать было некому.

Она постояла, дыша. Потом посмотрела на левую руку. Кольцо, десятки раз не снимавшееся, лежало на пальце, как обычное, и когда она потянула, оно сошло легко, без боли, будто его никогда и не было. В ладони оно оказалось тяжелым и теплым. Из него донесся звук — не голос даже, а тень голоса, тонкий, как писк комара.

— Нет, — сказала Аннета. — Хватит.

Она размахнулась и швырнула его в темноту, туда, где у стены, в каменном желобе, бежала вода и уходила вниз по склону, к порту. Раздался один тихий плеск. Она не стала смотреть.

Потом одернула платье, поправила волосы, вдохнула холодный ночной воздух, в котором пахло конюшней, камнем и свободой, и пошла обратно к дому, где горели окна. Что сказать

Рейнарду и что сказать родителям, можно было придумать потом. Сейчас ей хотелось смеяться и плакать одновременно, и она не знала, что выберет.

Аврора лежала на крыше складской башни в порту и впервые за много лет не хотела двигаться. Внутри, там, где у других людей душа, а у нее что-то другое, тлел уголь. Не так, как болит рана, а как болит ожог: ровно, настойчиво, не желая замечать, что его пытаются не замечать. Ей понадобится время, чтобы зажить. Много времени.

Она смотрела на облака и думала не о боли. Магия, которой ее только что едва не убили, оказалась не подарком, а счетом, оплаченным сполна, и Аврора видела расписки. Она боялась этого. Но вместе со страхом в ней поднималось и другое: желание, чтобы и у нее когда-нибудь была такая же. Не дар, полученный при рождении, а то, что вытачивается руками, ночью, со слезами. Отец был магом, и неплохим. Возможно, он согласится научить. А если нет, всегда можно найти кого-то другого.

Цены на рабов она выяснила. Цену магии тоже, хотя этого от нее никто не требовал.

Глава 5

Судья Тренн сидел над бумагами уже четвертый час и успел возненавидеть всех, кто когда-либо изобрел чернила. Комната, которую ему отвели в Управе городской стражи, окон не имела вовсе: низкий свод, стол, лампа и стены, обитые ящиками, по одному на каждого ребенка. Ящиков было много. Он вытаскивал их по одному, раскладывал содержимое на три стопки — дата, место, обстоятельства — и возвращал на полку, когда стопки переставали ему что-то говорить. Они говорили все меньше.

Младший писарь, юноша с вечно чернильными пальцами, принес чай, и тот остыл раньше, чем судья до него дотянулся.

Дел набралось сорок с лишним. Некоторые велись добросовестно, с описанием комнаты, показаниями соседей и рисунками порезов, сделанными лекарем, у которого, по всей видимости, была твердая рука и слабый желудок. Другие состояли из трех строк: «найден в постели; кожа сухая; похоронен». Но и этого хватало, чтобы увидеть главное.

Главным оказалось то, чего не было. Не было выкупа и записок, не было свидетелей, не было ни одного случая, чтобы кто-то слышал крик. Не было даже порядка: между двумя детьми проходило то две недели, то два месяца, города чередовались с деревнями так, как чередуются карты в плохо перетасованной колоде.

Зато было другое, и судья заметил его не сразу, потому что оно стояло на виду. Тела находили дома. Не в канаве за городом, не в лесу, не в колодце, где их, при желании, не нашли бы годами, а в собственных постелях, под собственными одеялами. Тот, кто убивает ребенка и хочет остаться в тени, прячет. Этот возвращал. Складывал аккуратно, как кошка кладет на порог принесенную птицу, чтобы хозяева убедились в ее мастерстве.

Тренн откинулся на спинку стула. Порезы на руках — не меньше десятка, мелкие, один к одному — говорили о том, что у убийцы было время. Тот, кто не торопится, считает себя в безопасности или знает, что никто не придет. А то, что он приносит детей обратно, значит, что ему важно, чтобы его работу увидели.

«Хочет, чтобы нашли», — записал он в блокноте, подчеркнул и приписал рядом: «Или хочет, чтобы запомнили. Выяснить, в чем разница».

Менсфельд сказал бы «магия» и успокоился. И не ошибся бы, к великой досаде судьи. Но магия отвечала на вопрос «как», а судью интересовало «кто». И в отличие от колдовства, у человека бывают привычки.

Когда стопки окончательно слиплись в одну, он встал, собрал блокнот и вышел. Был полдень или около того: в комнате без окон время определялось только по желудку, а желудок судьи сообщил, что давно не получал отчетов.

Площадь перед Управой была небольшой, мощеной крупным булыжником и пахла мокрым камнем. В центре стоял колодец с каменным срубом, а вокруг, на скамьях и ступенях, расположились те, кого такие места притягивают: старики, голуби и мальчишка с корзиной сушеной рыбы, который успел обойти всех и никому ничего не продал. Тренн щурился на свету, как щурятся после долгой работы при лампе, и не сразу заметил человека, шагнувшего ему навстречу.

— Судья Тренн, если не ошибаюсь?

Незнакомец был широк в плечах и немолод: лет пятидесяти, с короткой седой бородой, подстриженной так, будто он делал это сам и без зеркала. Полные латы, в отличие от латников у дверей совета, были потерты и местами заново подогнаны: этот доспех носили, а не показывали. Шлем он держал под мышкой. На левом бедре висел меч в простых черных ножнах, без чеканки, без камней, без единого украшения; на вид самая заурядная вещь, и именно в этом чувствовалась странность.

Что это за меч, в Тойне знали даже те, кто никогда его не видел. Если верить легенде, а в таких случаях верить принято, клинок этот был на самом деле закален самим покровителем кузнечного дела. Имя божества я, по примеру судьи Тренна, приводить не стану. Дальше легенда становилась убедительной, как и все легенды, где есть что проверить: меч резал латы, как подтаявшее масло, а вражеские клинки перерубал так, что противник долго не мог поверить, что у него в руке осталась только рукоять. Передавали его от паладина к паладину, и тот, кто нес его, назывался хранителем. Лотар никогда не опровергал легенду. В его положении опровергать было невыгодно и незачем.

— Паладин Лотар, — представился он и склонил голову. — Мы виделись в зале совета, хотя вы, думаю, меня не запомнили: я стоял у двери.

— Запомнил, — сказал Тренн, не вполне честно. — Чем могу быть полезен?

— Вопросом, возможно, не слишком уместным. — Паладин помолчал. — Как продвигается ваше дело?

— Медленно. — Судья не любил отвечать иначе: у слова «медленно» было то преимущество, что его нельзя было опровергнуть. — Я перечитал почти все материалы. Подозреваемых пока нет, есть только наблюдения.

Лотар кивнул, и на его лице что-то дрогнуло, чего Тренн не пропустил.

— Я спрашиваю не из праздного любопытства. Среди тех, о ком вам докладывали, есть девочка Ильза. Из деревни, что в дне пути к северу. Ей было семь. Это дочь моей сестры.

Тренн молчал. Он помнил это дело: четыре страницы, лекарский рисунок, строка «семь лет» в углу. Теперь у дела появилось лицо, и оно было написано на самом хранителе.

— Я читал, — сказал судья наконец. — Мне очень жаль.

— Тогда вы знаете больше, чем я. Мне позволили только похороны. — Он снова помолчал, и в этом молчании было что-то твердое, похожее на ножны. — Я не прошу вас торопиться. Я знаю, как это делается и что нельзя делать иначе. Но, судья, если вам понадобится помощь — люди, глаза, руки, этот меч, — вы ее получите. В пределах того, что допускает мой долг.

— Благодарю. Но надеюсь, что меч не понадобится.

— А я надеюсь, что понадобится, — сказал Лотар тихо и, видимо, поняв, что сказал лишнее, добавил: — Простите.

— Не извиняйтесь, — ответил судья. — На вашем месте я думал бы так же.

Они простились без рукопожатия. Тренн пошел вверх по улице, а паладин остался стоять на площади, пока не затих лязг его собственных доспехов.

Храм стоял на повороте, и судья едва миновал его, когда его окликнули. На ступенях в серой рясе стоял Менсфельд, и стоял он так непринужденно, что было ясно: ждет.

— Фредерик! Какая встреча.

— Вы здесь третий раз за двое суток, друг мой. Вас в этом храме скоро сделают старостой.

— Я? Нет. Я хотел бы только сказать… — Инквизитор сошел на две ступени вниз и понизил голос, словно собирался сообщить военную тайну. — Касательно нашего разговора по пути сюда. Об эманации. Я допустил неточность.

— Вы допустили не одну. Но выбирайте любую.

— Одну. — Менсфельд скрестил руки на груди. — Я сказал, что при эманации из человека выделяются аспекты, подобно кузнецу, швее и рыбаку, и что после этого неясно, что остается. Так вот, это неверно. Эманация не есть деление. Деление — это когда от целого остаются куски. Эманация — когда целое остается целым, а из него исходит нечто новое. Остается все. Человек-кузнец и человек-швея не части человека, а другие огни, зажженные от того же.

— Огни, — повторил судья.

— Свеча, зажженная от свечи, не становится ни короче, ни темнее.

— Очень красиво. И вы это всегда знали?

— Разумеется.

— Двое суток назад вы сказали «не знаю».

— Я сказал «не могу сформулировать». Это совсем другое дело.

Судья смотрел на него долго и без всякого выражения.

— Вы только что вышли из храма, — произнес он наконец. — Вас там поправили.

— Меня никто не поправлял.

— Менсфельд.

— Ну, подсказали, — буркнул инквизитор. — Мать. Преподобная. Очень сведущая женщина. Я решил, что вам будет полезно знать.

— Благодарю вас, друг мой, — сказал судья, и в голосе его не было ни капли насмешки, так что Менсфельд даже растерялся. — Теперь вы можете сделать мне ответную любезность. Я собираюсь поговорить с одной семьей. Верхний квартал. Хотелось бы, чтобы вы пошли со мной.

— Я? Зачем?

— Затем, что вы умеете задавать вопросы, которые мне не приходят в голову. А я — те, что не приходят вам. Вместе мы, возможно, будем немного похожи на одного хорошего следователя.

— Это был комплимент?

— Это был расчет, — сказал судья. — Но я не стану вам мешать воспринимать его иначе.

Дом значился в бумагах как «дом семейства Харт, Ровная улица, шесть». Название улицы не обманывало: она тянулась по линейке от начала до конца, и дом стоял на ней так же ровно, как все остальные, — узкий, в три этажа, с фасадом гладким, как лист бумаги, и подоконниками, на которых зимовали горшки с чем-то колючим. Служанка, открывшая дверь, не спросила, кто они, а лишь кивнула, словно давно ждала, что кто-нибудь придет.

Супругов принимали в малой гостиной. Йорен Харт, торговец тканями, был лет сорока, и лицо его давно ничего не выражало: не из сдержанности, а оттого, что мышцы, должно быть, устали. Жена его Тильда сидела в темном платье, положив руки на колени, и руки лежали так, будто их туда положили и забыли. На стене, над камином, висел портрет: девочка лет семи в голубом платье, с косичками, перевязанными лентой, и сосредоточенным взглядом человека, которого заставили сидеть смирно, хотя ему страшно хочется бегать.

— Клара, — сказала мать, перехватив взгляд судьи. — Ей было восемь без одного месяца.

— Благодарим, что вы нас приняли, — начал Тренн. — Я не буду заставлять вас повторять то, что вы уже рассказывали. Я прочел показания. Но мне хотелось бы услышать вас самих, потому что бумага помнит только то, что в нее записали.

— Спрашивайте, — сказал Харт.

— В ту ночь вы что-нибудь слышали? Шаги, скрип, голос?

— Нет. Мы спали. — Он произнес это ровно, и только слово «спали» прозвучало так, будто его пришлось вытолкнуть. — Я часто просыпаюсь ночью, но в ту ночь не проснулся. Я потом много думал об этом.

— Собака?

— Была. Она лает на каждого воробья, а в ту ночь не лаяла.

— Окна? Двери?

— Дверь в детскую была прикрыта, но не заперта: мы никогда не запирали. Окно было закрыто на задвижку. Изнутри. — Он помолчал. — Я это проверил сам, потому что искал, как он вошел. Задвижка была на месте.

Менсфельд, до сих пор сидевший молча, шевельнулся.

— Для магии, господин Харт, преград не существует. Не вините себя.

— Благодарю, — сказал отец, не глядя на него. — Но я себя виню не за окно.

Тренн записал: «задвижка изнутри». Потом, не поднимая головы, спросил:

— Накануне вы не замечали ничего странного? Незнакомых людей возле дома, просьб о милостыне, слишком любопытных торговцев?

— Мы живем на Ровной улице, судья. У нас не бывает незнакомых людей.

— Ваша дочь не жаловалась на что-нибудь? — спросил судья мягче. — Страхи, сны. Детям свойственно говорить такое, что взрослые пропускают мимо ушей.

Тильда подняла голову. Впервые за все время ее глаза остановились на нем, и стало ясно, что до этого она смотрела сквозь людей.

— Она говорила, что кто-то смотрит на нее с крыши, — произнесла она едва слышно. — За два дня до… До этого. Показывала на окно и говорила, что там сидит тетя. Я решила, что это воображение. Мы думали… Йорен думал, что это трубочист.

— Тетя, — повторил Тренн.

— Так она сказала.

— Какая? Как выглядела?

— Я не спрашивала. Она была ребенок, судья. Они все время кого-то видят.

— Я спросил, — тихо сказал Харт. — Она ответила, что тетя «грустная». Больше ничего.

Судья не стал переспрашивать: когда человек впервые говорит вслух то, что носил полгода, его нельзя перебивать. Менсфельд, как ни странно, тоже промолчал. Он достал из рукава небольшую свечу, но, взглянув на лица супругов, убрал обратно.

— Нам можно взглянуть на комнату? — спросил Тренн.

Детская находилась на втором этаже, и в ней, по всей видимости, с тех пор ничего не трогали. Кровать была заправлена. На полке стояли куклы, расставленные по росту, а на подоконнике лежал камешек с дырочкой, какой дети находят на берегу и хранят как сокровище. Окно выходило на соседний дом; над ним громоздился скат крыши, пологий, поросший мхом, с трубой в глубине. Судья долго смотрел на эту крышу. Потом открыл задвижку, закрыл ее снова, и она встала на место без малейшего усилия. С такой задвижкой снаружи ничего нельзя сделать.

— Вы нашли что-нибудь? — спросила Тильда, стоя в дверях.

— Пока нет. Но я не обещаю найти.

— Не нужно обещать, — сказала она. — Нужно найти.

Когда дверь за ними закрылась и они оказались на ровной улице под ровным небом, Менсфельд долго шел молча. Потом сказал:

— Девочка видела кого-то на крыше.

— Или кошку.

— Фредерик.

— Я не говорю, что не видела. Я говорю, что ребенок отличает кошку от человека, особенно если у кошки не бывает «грустного лица». Значит, это был человек. Значит, он лазает по крышам. А поскольку окно закрыто изнутри, значит, ему не нужны ни двери, ни окна. — Судья остановился. — Вот это мне и не нравится. Вы говорите «магия» и считаете вопрос закрытым. А я хотел бы знать, какая именно, потому что бывают колдуны, которые летают, и бывают такие, что проходят сквозь стены, и бывают такие, которые умеют спать так глубоко, что просыпаются только после смерти.

— И какая вам больше по вкусу?

— Меня интересует та, которой пользуются по привычке, — ответил Тренн. — Привычка и есть улика.

Он достал блокнот, раскрыл и под своей прежней записью, «хочет, чтобы нашли», добавил одно слово: «Крыши». Подумал и поставил знак вопроса. Потом подумал еще и поставил второй.

— Харчевня? — предложил Менсфельд. — Я угощаю.

— Нет, — сказал судья.

Они прошли еще десяток шагов.

— Хорошо, — сказал судья.

Аврора вернулась домой на второй день после ночи в тупике. Дым, которым она летела, показался ей чужим: все на месте, а ощущается иначе, будто ее пропустили через сито и внутри осталось что-то мелкое, неспособное держаться вместе. Ожог не прошел. Он затих, как затихает потревоженный зверь, и время от времени, на резких поворотах ветра, напоминал о себе тупым, горячим толчком где-то под ребрами.

Крепость встретила ее так же, как всегда: глухой стеной и двором, где ее никто не ждал. Слуги расступались и опускали глаза: не из страха, а по привычке. Она спросила у ближайшего, где Отец, и получила краткий ответ: «В северной башне».

Лорд Морвен сидел за широким столом, заваленным свитками, и читал, не глядя на вошедшую.

— Отец, — сказала Аврора.

— Аврора. — Он отложил свиток. — Ты задержалась.

— Двух дней не хватило.

— Я так и думал. — Голос его не изменился. — Три?

— Три.

— Это даже разумно. Рассказывай.

Она рассказала коротко и без украшений: цены, бумаги, печать за три золотых, партии по тридцать голов с условием «брать всех сразу», торговец, у которого она спросила про эльфов. Отец слушал, слегка наклонив голову. Про эльфов он сказал: «Я предупреждал». Про печать: «Не дороже, чем я ожидал». Про тридцать голов: «Это, пожалуй, интересно».

— А Гаспар и Ренье? — спросила она, когда отчет закончился. — Они вернулись?

— Нет.

— Не вернулись?

— Их путь занимает больше дней, чем ты ожидала. — Он слегка улыбнулся: это была его манера смеяться, не двигая лицом. — Ты долетела дымом, а они едут верхом. Города без порта лежат дальше, чем кажется на карте, а дороги после дождей превращаются в кашу. Гаспару на север, Ренье на юг. Мне не терпится узнать, что они там найдут, если найдут. Но это не к спеху.

Отец взглянул на нее прямо, и Аврора подумала, что сейчас он спросит о бледности или о том, как она держит плечо. Он помолчал, но спросил не об этом.

— Что с одеждой?

Она не сразу поняла. Потом вспомнила, что плащ она держала запахнутым, а то, что было под ним, видно со стороны по краю воротника.

— Сгорела, — сказала она.

— Сгорела.

— Не вся. На груди. — Аврора откинула полу. Платье, ее городской наряд, зачарованный когда-то кровью, было прожжено насквозь, и обугленный край ходил кольцом вокруг дыры там, где в тупике ударил белый огонь. Ткань по краям запеклась черной корочкой. Плащ, висевший поверх, ни на что не жаловался: на нем не нашлось ни одной подпалины.

— Любопытно, — сказал Морвен, глядя на плащ, а не на платье. — Он, видимо, лучше сделан. Что ты там делала?

— Встретила человека, — сказала она. — Который умел то, чего не умею я.

Он не спросил, кто и что. Это была еще одна его манера: не спрашивать, если не готов выслушать ответ. Вместо этого он аккуратно сложил свиток, положил на край стола и сказал:

— Прикажу, чтобы тебе сшили новое. Слуги знают твои размеры. К утру…

— Нет, — сказала Аврора.

Лорд Морвен замер. На долю секунды, не больше. Если бы это не был он, никто бы не заметил.

— Я хочу сама, — продолжила она, и голос ее, как ни странно, не дрогнул. — Зачаровать. Плащ ты когда-то сделал сам, пока я смотрела. Теперь я хочу попробовать. С тобой. Ты будешь говорить, что делать.

Для отца, чья дочь столько лет обходила магию стороной, как обходят болото, это было заявление, достойное отдельной главы. Он знал, как презрительно она отзывалась о собственных способностях, и знал, что не должен спрашивать, откуда внезапная перемена. Радоваться вслух лорд Морвен себе не позволял: радость проявлялась у него тем, что он на секунду переставал двигаться. Эту секунду он только что прожил.

— Хорошо, — сказал он спокойно. — Идем.

Лаборатория занимала нижний этаж северной башни: низкий сводчатый зал с одним окном, закрытым ставней, и без единого лишнего предмета. Вдоль стен тянулись полки, на которых в стеклянных банках плавали вещи, о происхождении которых лучше не думать. Посередине пола серебряной проволокой был вделан круг, а рядом стоял стол из серого камня с желобками по краям — для стока, не очень ясно, чего. Пахло воском, железом и сухими травами. Слуга принес сверток — новый комплект: платье цвета речной гальки, чулки и короткие ботинки — и молча ушел.

— Плащ оставь, — сказал отец. — Он уже привязан, и ему нечего делать в круге.

Она сняла плащ и повесила на гвоздь у двери. Без него она показалась себе меньше, чем была. Потом подошла к столу, положила платье, чулки и ботинки в круг и достала из-за пояса свой ножичек.

— Слова будешь повторять за мной. — Морвен встал по другую сторону стола. — Это просто. Это старый язык, и в нем нет ничего, чего нельзя произнести. Но каждое слово нужно сказать так, как оно звучит, а не так, как кажется. Порядок такой: кровь на ткань, три капли; ладонь на ткань; слова; пауза; слова еще раз. Если потеряешь нить, не продолжай. Начнешь заново.

— Поняла.

— Ты не должна думать об одежде. Думай о себе. Она не принадлежит тебе, она — часть тебя. Вот этому слову и учит заклинание.

Аврора сделала надрез на левой ладони. Он вышел неглубоким и аккуратным: привычка рук, которая в других обстоятельствах показалась бы ей неуместной. Три капли упали на серую ткань, расползлись темными пятнами. Она прижала ладонь и закрыла глаза.

Отец произнес первую фразу. Слова были короткие и жесткие, с таким количеством согласных, какое человеческая речь обычно не выдерживает. Она повторила. Вторая фраза. Повторила. Третья. На четвертой что-то в ней сдвинулось: то ли слово показалось знакомым, то ли язык стал послушнее, и она сказала две фразы подряд так, как не договаривались, потому что не удержалась и добавила одну связку, которая вертелась в голове.

Морвен услышал. Она поняла это по тому, как дрогнули его ресницы. Но он промолчал.

Ткань на столе потемнела, впитала кровь, и по ней пробежала рябь, как по воде. Аврора открыла глаза.

— Получилось?

— Попробуй, — сказал отец.

Она переоделась в углу, за стеллажом, и вышла в платье цвета речной гальки. Платье село на ней хорошо и незаметно, как садится только хорошая одежда. Она встала в центр круга, сосредоточилась и обратилась в дым.

Дым вышел нежно-розовым.

Она заметила это не сразу. Она вообще ничего не замечала, пока смотрела на мир сверху, из состояния, не требующего зрения: стены, полки, лицо отца, все это казалось ей лишь склад-

ками воздуха. Но когда она собралась и вернулась в тело, на каменном полу лаборатории стояла девушка, на которой не было ничего. Ни платья, ни чулок, ни ботинок. Все три предмета лежали у ее ног аккуратной кучкой, как будто их сбросили.

Аврора постояла секунду. Потом молча подошла к гвоздю, сняла плащ и запахнулась. Он, привязанный к ней кровью, никуда не делся.

— Дымка, — произнес Морвен, который, как оказалось, все это время смотрел в сторону стеллажа, — была очень хороша. Цвет тебе к лицу.

— Ты видел, где я ошиблась.

— Видел.

— И не сказал.

— Ты не просила. — Он наконец повернулся, и на лице его не было ни насмешки, ни упрека. — Ты хотела сама. Если бы я подсказал, ты сделала бы правильно, но запомнила бы мой голос, а не свою ошибку. Ошибки, как правило, учат лучше. Но только если не мешать им случиться.

Аврора сжала ладонь, на которой кровь уже запеклась, и посмотрела на платье, лежавшее на полу. Теперь она знала, что сказала лишнее слово: ту самую связку, которая показалась ей естественной. В старом языке естественность значила нечто иное.

— Еще раз, — сказала она.

— Хорошо. Начнем сначала.

Ткань нужно было очистить, чтобы заклинание не наложилось на прежнее. Она сделала это без подсказки: ополоснула платье в чаше с серой водой, стоявшей у стены, и разложила в круге. Новый надрез, три капли, ладонь. Она не стала торопиться. Слова, которые отец произносил в первый раз, она теперь слушала иначе: не как звуки, а как ступени, на каждой из которых нужно остановиться. Четвертая фраза. Пятая. Связка на этот раз не пришла, и она молча прошла мимо нее.

Ткань вздрогнула, рябь пробежала от края к краю, и по ней растекся тот же темный отпечаток, только ровнее.

Она оделась, встала в центр круга и обратилась в дым.

Дым вышел серо-голубым, цвета речной гальки, и стоял над серебряной проволокой неподвижно. Аврора не видела его цвета, но почувствовала разницу в самом ощущении: платье не отставало от нее, как раньше, а тянулось вслед, как продолжение руки. Она вернулась в тело. На каменных плитах стояла девушка в платье, чулках и коротких ботинках, и ни одна складка не сбилась.

— Хорошо, — сказал лорд Морвен. — Очень хорошо.

Он редко говорил такое. В детстве она, кажется, слышала это дважды: когда научилась обращаться в дым, и когда научилась не бояться этого. Сейчас что-то в ней дрогнуло, и она отвернулась к полке, делая вид, что рассматривает банки.

— Это не сложнее, чем кажется, — продолжил отец тем же ровным голосом. — Ты поняла главное. Магия крови не терпит спешки и не любит, когда о ней думают как о чужой. Если захочешь продолжить, я найду для тебя несколько простых вещей.

— Захочу, — сказала Аврора. — Но не сегодня.

— Не сегодня, — согласился он.

Комната Авроры помещалась в западной башне: кровать, сундук, узкое окно и пустота, которую хозяйка считала уютом. Над подоконником лежало одно птичье перо, не потому что оно что-то означало, а потому что она однажды его туда положила и не стала убирать. Сундук был закрыт. Она не стала его открывать и не стала зажигать свечу, а села на край кровати, не разуваясь, и некоторое время сидела, глядя на сумерки в окне.

Внутри еще тлел уголь. Он не болел, как болит рана, а как будто напоминал, что в этом месте есть то, что можно потерять. Она положила ладонь на то место, где был ожог, и подумала о том, чего прежде не позволяла себе думать.

Всю жизнь она называла свою магию костылем. Слово это сидело в ней глубже, чем она сама, и привыкла она к нему, как привыкают к кличке: перестаешь слышать, что она значит. Костыль означает слабость. Костыль означает, что без него не обойтись и что обходиться без него было бы лучше. Она ненавидела его и пользовалась им, и ненавидела тем сильнее, чем чаще он выручал.

А в тупике, когда воздух стал глиной, когда белый огонь входил в грудь, а на нее хлынули чужие века, именно этот костыль оказался единственным, что у нее было. Не знание, не опыт, не заученное годами ремесло, а то, с чем ее принесли на свет, то, что вытянуло ее оттуда, куда она сама бы не выбралась. И не он ее подвел, а она его чуть не подвела тем, что презирала.

Нельзя ненавидеть руку, которая вытащила тебя из воды. Можно только жалеть, что рука не обучена, и жалость эта, как ни странно, и есть начало учебы. Врожденное — не противоположность выученному. Это то, на что выученное можно положить, как кирпич на фундамент, если, конечно, не строить на нем с отвращением.

Она не стала от этого радостнее. Никакого просветления не случилось, и никакой музыки не заиграло. Но что-то стронулось: так сдвигается замерзшее озеро, когда под льдом впервые идет вода. Она хотела не просто больше силы, а больше себя.

Этот вечер был началом, пусть крохотным: один раз она сама произнесла слова, один раз ошиблась, один раз поправила. Платье цвета речной гальки лежало на сундуке. Она посмотрела на него и вдруг вспомнила рыжие волосы в желтом свете фонаря и несостоявшееся «спас…», которое растаяло в воздухе вместе с ней. Мысль была не из тех, что можно довести до конца, и Аврора отпустила ее.

Она сняла ботинки, поставила их рядом с кроватью, как делала всегда, и легла. Плащ она не сняла. Это было нарушением всех приличий, но приличия никогда не были ее сильной стороной, а слуги, которые завтра об этом узнают, промолчат: у них давно выработалась привычка не замечать того, чего знать не обязаны.

Глава 6

Спать ей не хотелось. Аврора лежала на спине, не снимая плаща, и смотрела в потолок, на котором лунный свет из узкого окна вычерчивал одну и ту же косую полосу. Полоса медленно ползла к стене. Вместе с ней ползли и мысли, и ни одной из них нельзя было приказать остановиться.

Первой пришла рыжая.

Не лицо, лицо вспомнилось позже, а то, как лежал свет на ключицах, когда с нее сорвали лохмотья. Линия от шеи к плечу, которую хотелось не столько увидеть, сколько провести пальцем. Талия, бедро, вся эта соразмерность, какой в природе не бывает, а вот поди ж ты. Аврора не заметила, как ладонь, без спроса, легла ей на грудь поверх плаща, и замерла, будто обнаружила, что ошиблась дверью.

Она убрала руку. Руки, как выяснилось, тоже нужно воспитывать.

Глупость, сказала себе Аврора. Рабыня на рынке, три дня как, а потом ночью, в тупике, уже совсем не рабыня, и благодарность в ее лице была такой неприкрытой, что пришлось бежать. Бежать от благодарности. Если бы ей раньше сказали, что она способна на такое, она бы не поверила. Впрочем, она и сейчас не вполне верила.

Следом за рыжей, как водится, явилась старуха.

Тут уж не нужно было вспоминать: старуха не уходила. Белая кисть огня, входившая в грудь изнутри. Паралич, который нельзя было сбросить, как нельзя сбросить собственную кожу. И хлынувшие потом чужие века, которые за два дня не осели, а только легли на дно, как ил, и всякий раз, стоило потревожить воду, поднимались снова. Аврора по-прежнему не знала всего, что в них было. Но теперь у нее было время рассмотреть то, что она успела увидеть.

Монастырь вспоминался первым, потому что был самым холодным. Пол из серого камня, который маленькая Бельва, тогда еще совсем не Бельва, скоблила на рассвете до тех пор, пока на пальцах не вскрывались мозоли. Колокол, звонивший в такое время, когда ночь уже не принадлежала сну, но еще не принадлежала утру. Суп, в котором плавало что-то, выдававшее себя за капусту. Настоятельница с лицом, из которого давно ушло все, кроме требовательности. И один-единственный человек в этих стенах, смотревший на девочку не как на рабочие руки: старик с узкой койки в лазарете, закашлявшийся кровью. Он вложил ей в руки тяжелую книгу, и в то мгновение, когда ладони приняли этот вес, жизнь Бельвы разделилась на то, что было до, и то, что стало потом.

Инквизиция пришла в этот мир позже, и вспомнилась она не лицом, а знаком. Человек в сером плаще с медным знаком на груди, расходящиеся языки пламени, тот самый, что Аврора разглядывала над разбитым алтарем в деревенской церкви. Он ходил по рядам послушниц и всматривался в ладони, будто искал на них что-то, что не смывается. Бельва стояла в строю и держала руки так, словно в каждой лежало по раскаленному углю. Книга в эту минуту находилась под полом, под третьей плитой от окна. Обошлось. Потом была площадь, залитая оранжевым, и женщина на костре, у которой нашли не ту книгу. Бельва смотрела на нее до конца, потому что отвернуться значило бы признаться.

Это был страх, от которого не лечат. Он поселился в Бельве раз и навсегда и стал для нее чем-то вроде привычки, как привычка садиться спиной к стене. Аврора вдруг поняла, что именно поэтому старуха так испугалась преследования в Верхнем квартале и почему не стала разговаривать с ней долго. Хвосты там означали не помеху, а приговор.

Третья картина была самой странной, потому что ничего в ней не происходило. Подвал. Свеча. Книга на коленях. Бельва, уже не девочка, но еще далеко не та, что стояла на площади с белым огнем в ладони, произносила одни и те же слова, снова и снова, сто раз, четыреста, до хрипоты. Пальцы дрожали от холода. Три волоса обгорели у виска от какой-то неудавшейся

попытки. Ночь следовала за ночью, ничего не менялось, и вдруг, на четыреста первой или пятисотой, в сложенных ладонях вспыхнула искра: крохотная, не больше семечка. Бельва смотрела на нее, не дыша. А потом, как рассказывала сама эта память, не засмеялась и не заплакала, а только очень спокойно сказала себе вслух: «Вот».

И в этом «вот» Аврора вдруг уловила нечто такое, от чего ей захотелось встать.

Она села на кровати. Сердце колотилось. Это была не радость и не страх, а то нетерпение, которое возникает, когда видишь чужую дверь и понимаешь, что у тебя есть ключ, о котором ты не знала.

Слова она помнила. Не как слова, а как звуки: чужая память, пробежав через нее, оставила их так, как оставляет на песке следы тот, кто шел босиком. Они вертелись на языке, не поддаваясь переводу, потому что принадлежали языку, которого Аврора не знала. Но что-то подсказывало ей, что не знать язык и не уметь произнести слова — вещи разные.

Теперь придется остановиться и объяснить. Читатель, наверное, помнит, что язык, на котором лорд Морвен читал заклинания, Аврора слышала с детства, и что это был не тот язык. Если уж быть точным, то он ничем не напоминал речь, которой пользовалась Бельва. Отец обращался к высшим силам, и слова его, жесткие, перегруженные согласными, были не столько заклинаниями, сколько просьбой: «Пусть будет так». Это был язык демонический, как называли его те, кто знал его историю. Он не приказывал, он просил. Он не творил, он запрашивал, чтобы кто-то другой сотворил.

Язык Бельвы был устроен иначе. Он появился на свет не у демонов, а у людей, и не как дар, а как работа. Некогда существовало Товарищество магов, и о том, чем оно кончило, я судить не берусь, да это сейчас и не важно. Важно, что члены его однажды решили: магия, как всякое ремесло, может иметь правила. Они составили язык, в котором каждое слово отвечало одному действию, и вывели из него формулы: короткие, точные, годные для любого мага, у которого хватило терпения их выучить. Формул набралось великое множество: от тех, что зажигают огонек, до тех, что помогают найти потерянную монету. До наших дней дошли не все, но и тех, что дошли, хватило бы на несколько жизней. Язык Товарищества не просил. Он обращался к магии как к живой силе, которая слышит и отвечает, если ее позвать правильно.

Но здесь есть одна оговорка. Формула без дара ничего не стоит. Можно выучить ее наизусть, произнести без единой ошибки хоть тысячу раз, и в лучшем случае от этого заболит горло. Чтобы формула сработала, нужно, чтобы в том, кто ее говорит, было то, на что она отзывается.

В Авроре это было. Отец понял это еще тогда, когда она впервые обратилась в дым. Но Аврора, как мы знаем, всю жизнь считала это недостатком.

Она встала, оправила плащ и посмотрела на стену. Стена была каменная и безразличная. Тогда она подняла правую руку, ладонью вверх, и сложила пальцы чашей, как складывала их когда-то та, чью память она унаследовала. И произнесла первое слово.

Ничего не случилось.

Не случилось и со вторым, и с третьим: она проговорила всю формулу так, как слышала ее в чужом воспоминании, и закончила в тишине, где слышалось только ее собственное дыхание. Она подождала. Попробовала снова. Горло, как и предупреждало Товарищество, начало першить.

Она пробовала быстро и медленно, шепотом и в полный голос. Пробовала, как произносил отец: с легким наклоном головы, как говорят с тем, кто выше. И даже почувствовала, как слова, произнесенные таким образом, уходят куда-то вверх, к тем, кто слушает, и никогда не возвращаются. Это было не то. Она не хотела просить.

На девятой попытке ей начало казаться, что она делает что-то неправильно в самом простом смысле: не в произношении, а в интонации. В воспоминании, которое она проигрывала, слова звучали не так, как она себе представляла. Они не были торжественными. Они были

будничными, усталыми, почти скучными, как слова, которые говорят привычному делу. И где-то на заднем плане той же памяти, тихо, как слышат голос из-за стены, звучала фраза старика из лазарета, которую Бельва потом повторяла себе в подвале: «Не проси. Скажи, как говорят с тем, кто умеет».

Аврора опустила руку. Постояла. Потом снова подняла и произнесла слова так, как говорят с лошадью, которая знает дорогу: ровно, без нажима, без надежды и без угрозы.

Воздух над ладонью потеплел.

Она не стала радоваться, боясь спугнуть. Повторила. Еще раз, слегка иначе, и слегка иначе, как подбирают шаг на незнакомой тропе. На двенадцатый раз что-то в ладони щелкнуло, как сухая ветка, и над пальцами, в воздухе, словно кто-то уронил туда маленькую каплю краски, вспыхнул огонь.

Он был голубым. Не белым, как у Бельвы, не желтым, как у свечи, а голубым, как огонь на хорошем вине, которое подожгли, чтобы удивить гостей. Он плясал над ее ладонью, ровный, тихий и теплый, и не жег.

— Ох, — сказала Аврора.

Рука вздрогнула сама, помимо нее. Огонь сорвался с ладони, как с ветки, пролетел через комнату и ударил в стену над сундуком. Раздался сухой хлопок. Каменная кладка почернела, и на ней осталось пятно размером с тарелку, от которого поползла вверх тонкая струйка копоти.

Аврора стояла с вытянутой рукой, как стоят после того, как уронили что-то хрупкое. Потом опустила ее. Ладонь пахла грозой и была теплой, словно ее долго держали у огня, хотя огонь не жег.

В тишине было слышно, как она дышит. В воздухе пахло горелым камнем. За дверью, в коридоре, кто-то прошел мимо, не остановившись: слуги, как мы помним, не замечали того, чего знать не обязаны.

— Значит, не только дым, — сказала она вслух. И, помолчав: — И не только иссушать.

Она сказала это тихо, как говорят о находке, которой пока не хотят хвастаться даже перед собой. Огонь не был чудом. Он был всего лишь первой из многих формул, самой простой и самой детской, той, с которой начинают все. Но он ответил. Он ответил ей, а не отцу и не Бельве: он вспыхнул на ее ладони, потому что в ней было то, на что он мог откликнуться. Врожденный дар, который она всю жизнь презирала за то, что он дался даром, оказался не одной тропинкой, а, быть может, целой дорогой. Иссушение и дым были только первыми, самыми очевидными ее поворотами.

Теперь предстояло решить, куда идти дальше. Путей было несколько, и она перебирала их без спешки, как перебирают ключи. Кровь: отцовская магия, тяжелая, торжественная, требующая просьб, жертв и согласия тех, кто выше. Слова: Товарищество и его формулы, сухие и точные, но нуждающиеся в учителе или хотя бы в книге. И было еще третье: то, что у нее уже было и о чем она пока знала лишь половину. То, что умело обращаться в дым и забирать чужую жизнь на расстоянии. Не до конца изученное, не названное, не обученное. Но не менее ее собственное.

Она не стала выбирать. Это был не вечер для выбора. Вечер, как она с удивлением заметила, давно перешел в ночь, и лунная полоса на потолке сменилась другой, потоньше. Аврора села на край кровати и, подперев подбородок ладонью, спросила у темноты, у стены с пятном, у слабого запаха гари, у самой себя:

— Почему я столько лет считала себя слабой?

Темнота молчала. Это была удобная темнота, отвечавшая только тогда, когда ее не торопили.

— Потому что без этого я бы ничего не стоила? — продолжила Аврора и тут же услышала, как нелепо это звучит. Без чего именно? Без рук? Без памяти? Без той части себя, кото-

рая видит и слышит, и тянется к чужому? Никто не спрашивает у птицы, чего она стоит без крыльев. Это не вопрос, это путаница между «что я есть» и «что я могла бы быть вместо».

Она вспомнила, как ненавидела собственный дар. Как считала, что настоящая сила та, что заработана, а не дарована. Как радовалась, когда ребенок не мог ей противостоять и ей не приходилось звать на помощь ничего, кроме собственных рук. Как презирала магию, которой не нужно было стоить ничего. И теперь, с копотью на стене и голубым огнем в памяти, не нашла в этом презрении ничего, кроме страха. Страха оказаться пустой, если отнять у нее то единственное, что умеет она одна. Но как отнять, если оно и есть она?

— Я такая, какая есть, — сказала Аврора. — И не обязана ничего собой представлять без этого. Это же не вычитается. Это входит в сумму.

Эта мысль оказалась проще, чем все остальные, и потому, должно быть, самой устойчивой. Магия у нее есть. Пока она есть, Аврора может быть чем-то с ее помощью, и это не стыдно, потому что другой Авроры, которая стояла бы в стороне от своего дара и сравнивала их, не существует. А вот увеличить то, что у нее есть, расширить, научить, превратить из нескольких приемов в целый инструментарий — это уже работа. Трудная, долгая и, пожалуй, интересная. Бельва потратила на искру четыреста ночей. У Авроры в запасе, как ни странно, было не меньше.

Она встала, взглянула на пятно на стене и без особой решимости попробовала подвинуть сундук так, чтобы он закрывал его. Сундук оказался тяжелее, чем выглядел. Тогда она села на него сверху, подтянула колени и задумалась о том, что отец, конечно, заметит. Он замечал все. И не скажет ни слова, потому что она не просила.

На крышу дома номер четыре по Ровной улице судья Тренн смотрел уже третий час, и крыша, надо отдать ей должное, выдерживала этот взгляд с достоинством.

Дом принадлежал вдове Ульрике Фогт, особе глуховатой, гостеприимной и твердо убежденной, что судья явился проверять трубу. Разубеждать ее не имело смысла: она так радостно проводила гостя на чердак, так старательно перечисляла, что именно в трубе «поет» и как это «поет», что Тренн счел за лучшее кивать. На чердаке было сухо, пахло пылью и яблоками, которые хозяйка хранила на соломе в углу, а в слуховом оконце, если встать на цыпочки, открывался вид на ту самую крышу напротив, под которой когда-то жила девочка по имени Клара.

Крыша была обыкновенной: пологий скат, зеленый от мха, широкая кирпичная труба у конька и чугунный флюгер в виде петуха, давно не поворачивавшийся и смотревший в одну сторону с упрямством, достойным лучшего ветра. Тренн изучал ее так, как привык изучать подозреваемых: сначала целиком, потом по частям, потом в поисках того, что не стыкуется.

Не стыковалось одно. Туда нельзя было попасть.

Он проверил это дважды. Сначала снаружи, обойдя дом по узкому проулку, где два соседних фасада стояли друг против друга так близко, что можно было бы пожать руку человеку в окне напротив, если бы он вытянулся, и так далеко, что на этом все и заканчивалось. Стены были оштукатурены гладко, как яичная скорлупа: эльфы, строившие квартал, не терпели ни выступов, ни лепнины, ни всего того, за что цепляется взгляд, а значит, и пальцы. Водосточные трубы были тонкими, медными и держались на скобах, которые не выдержали бы и кошки. Ни лестниц, ни приставных козел, ни лозы, ни даже пристойного карниза. Единственное дерево на всей улице росло в двадцати шагах отсюда и было слишком молодо, чтобы отвечать за что бы то ни было.

Потом он осмотрел чердак изнутри. Люк, ведущий на него, был заперт на засов с нижней стороны, и пыль на запоре лежала ровным слоем, который не тревожили, судя по всему, много лет. Слуховое окно закрывалось изнутри на задвижку. Он отодвинул ее: она вышла со скрипом, с тем самым, по которому видно, что ее не трогали с последней осени.

Выходило, что тот, кто сидел на этой крыше, поднялся на нее не по дороге, на которую нормальный человек полагается. Тренн присел на ящик с яблоками, достал блокнот и стал думать, как думают, когда не хочется доверять первой мысли.

Вариантов набиралось несколько, и судья перебирал их по порядку, вычеркивая то, что не выдерживало проверки.

Первый: веревка с крюком. Самый очевидный и самый распространенный способ у тех, кому нужно попасть на крышу без лестницы. Но крюк, зацепившийся за карниз, оставляет на нем вмятину, а карниз здесь был медный, с узором из листьев, и узор этот шел ровно, без единого изъяна. Полгода, конечно, срок немалый, но не такой, чтобы вмятины зарастали сами собой.

Второй: помощник. Кто-то из живших в доме мог впустить убийцу, открыть люк, подать руку. Но запор на люке, пыль, вдова, которая не слышит собственного голоса и, судя по свидетельству служанки, боится чердака с тех пор, как там однажды упала сосулька. Третьего человека в доме не жило.

Третий: прыжок с соседней крыши. Проулок в три сажени шириной. Тренн измерил его шнурком, и шнурок оказался честнее, чем хотелось бы. Такие прыжки существуют разве что в балаганных рассказах. Да и сама соседняя крыша стояла ниже на целый этаж.

Четвертый: человек, умеющий лазать по отвесным стенам. В мире водились такие: цирковые акробаты, воры из южных портов, горцы. Но им, как правило, требовалось, за что цепляться, а здесь не было даже шероховатости.

Пятый: магия. Он написал это слово и подчеркнул, не потому что верил, а потому что не мог не написать. Но магия бывает разной. Тренн вспомнил свои слова, сказанные Менсфельду в Верхнем квартале: колдуны, которые летают, и колдуны, проходящие сквозь стены. Список выходил длинный и ничего не обещал.

— Вы не сидите на яблоках, друг мой? — раздалось снизу. — Они подавляют скепсис, я слышал.

Лестница, ведущая на чердак, скрипела под тяжестью, которая преодолевала ее не без усилий. Несколько ступенек были проверены осторожно, одна — с кряхтением, и наконец в люке показалась круглая румяная голова, а за ней и все остальное: серая ряса, запыхавшееся дыхание и маленькая книжка, торчавшая из рукава.

— Мне сказали в Управе, что вы здесь, — сообщил Менсфельд, отдышавшись. — Вдова спросила, не из Церкви ли я, и не могу ли я помолиться за ее трубу. Я пообещал. Надеюсь, это не нарушает следствия.

— Только если труба окажется замешана.

— Ну что? — Инквизитор подошел к окну и, сощурившись, посмотрел на крышу напротив. — Нашли?

— Нашел, что туда не попасть. Ни лестницы, ни скоб, ни следов от крюка. Ни помощника, ни прыжка. Я перебрал пять способов, и все пять не выдерживают.

— Пять? Назовите.

Тренн назвал. Менсфельд слушал, кивая, и на пятом пункте усмехнулся.

— Так вы ведь все и назвали, Фредерик. Только последний не разглядели.

— Я его разглядел. Он слишком широкий. «Магия» объясняет все и ничего. Я не знаю, какая именно.

— А мне не нужно знать, какая именно. — Инквизитор отошел от окна, придвинул к себе пустой ящик и, поморщившись, уселся, как садятся люди, у которых был долгий день. — Достаточно выбрать самую простую. Полет.

— Полет.

— Он самый экономный. Если убийца умеет летать, он без труда оказывается на крыше, сидит на ней, сколько ему вздумается, и уходит так же, как пришел. Нет ни следов, ни помощ-

ников, ни лишних допущений. Одно-единственное умение, и все остальное из него вытекает. Это называется бритвой Оккама. Не следует умножать сущности без необходимости.

Бритва Оккама, как известно всякому, кто проучился в схоластической школе хотя бы полгода, названа по имени некоего Оккама. Какого именно, спросите у ученых; я, признаюсь, историю вопроса не изучал и не уверен, что она сильно меня обогатит. Важно, что правило это любят все, кому нужно быстро закончить спор, и что принцип в целом разумный: из двух объяснений, равно подходящих, выбирают то, которому нужно меньше допущений.

— Простое не всегда верное, друг мой, — сказал Тренн.

— Не всегда. Но с него полезно начинать.

— Полет объясняет крышу. Но не объясняет закрытое окно в детской. На крыше она, допустим, сидела; а как вошла в комнату? Задвижка стояла на месте.

— Один вопрос за раз, Фредерик. — Менсфельд развел руками. — Вы хотите, чтобы я за один присест решил вам всю загадку? Я инквизитор, а не оракул.

— Тогда еще один, раз уж мы начали, — не отступал судья. — Если убийца летает, то он где-то садится. Птицы садятся на ветки. Люди, если им нужно присесть, куда?

— На крыши.

— Вот именно. Тому, кто летает, не нужны двери. Ему нужны крыши. Это объясняло бы, почему девочка видела «тетю» не у входа, а там, где ни одной двери нет. — Тренн помолчал. — Беда в том, что это объясняет слишком хорошо. Когда все сходится с первого раза, я начинаю подозревать, что чего-то не знаю.

— Это у вас профессиональное.

— Это у меня опыт. Он дороже.

Судья потер переносицу.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Допустим, полет. Но у меня к вам просьба, и она важнее. Пойдемте в Управу. Я хочу показать вам кое-что на карте.

Комната без окон, в которой судья проводил все свои дни, выглядела так, как будто в ней перенесли небольшое землетрясение. Ящики стояли не на своих местах, стопки бумаг успели перейти из состояния порядка в состояние живописного беспорядка, а на стене, под лампой, висела карта окрестностей, утыканная флажками. Теперь на каждом флажке была бумажная бирка с названием деревни или города, выведенным мелким и разборчивым почерком, и флажков стало больше, чем в прошлый раз, потому что судья, как выяснилось, дописал все, что обнаружил в ящиках.

— Вот, — сказал Тренн и отступил, давая инквизитору место. — Посмотрите и скажите, что вы видите.

Менсфельд подошел ближе. Он долго разглядывал карту, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, и лицо его постепенно принимало то выражение, какое бывает у человека, которому показали картину и спросили, нравится ли она, а он не знает, чья она.

— Я вижу много флажков, — наконец сказал он. — Красных, в основном. Тойн, у восточного побережья. Вокруг деревни. Вот на юге большое скопление. На западе пореже. На востоке, кажется, тоже. Какая-то система есть?

— Это я у вас спрашиваю.

— Тогда нет, — сказал Менсфельд, помолчав. — Никакой. Они разбросаны так, как будто кто-то бросал горсть гороха. Вы же сами говорили: интервалы разные, места разные. Если и есть закономерность, то она слишком хитра для меня.

— Вы смотрите на флажки.

— А на что мне смотреть?

— На то, чего на карте нет. — Судья подошел и провел пальцем по воздуху, не касаясь бумаги. — Вот это пятно, на северо-западе. Видите? Здесь, где тракт делает петлю и уходит в предгорья.

Менсфельд посмотрел. Пятно на карте, величиной с ладонь, было чистым: ни одного флажка, ни одной бирки. На сером фоне выделялась только тонкая линия реки и штриховка гор.

— Горы, — сказал инквизитор.

— Горы, — согласился судья. — Но не пустые. Я проверил по реестру, который хранится у стражи, потому что сборщики податей считают все, даже то, чего нет. В этих горах три города среднего размера: Эльдсберг, Граубах и Штайнвальд. Полтора десятка деревень. Семьи, дети, ярмарки. По самым скромным подсчетам, детей там не меньше, чем где-нибудь еще.

Он отступил на шаг и принялся перечислять, не заглядывая в блокнот, ведя пальцем по краю незаполненного пятна, обходя его с севера на юг.

— Вот Кронеталь, где жила девочка Ильза. Это в двух днях пути от границы. Вот Ильсау. Вот Нижний Бренд. Фогельсберг. Рутен. Эрлинген, Хольм, Грайфенау. Все они вокруг. Где-то в тридцати верстах, где-то в сорока. Но ни один флажок не стоит внутри. Они обходят это пятно, как вода обходит камень, — по кругу, не касаясь. Внутри, на протяжении, скажем, пятнадцати лет, о которых я успел собрать данные, ни одного случая.

Менсфельд молчал. Судья давно знал это молчание: когда инквизитор начинал думать всерьез, у него замолкало все, включая дыхание.

— Это земли лорда Морвена, — сказал Тренн. — Называются они Серый Предел. Я узнал в канцелярии, потому что не сразу понял, чьи они.

— Морвен. — Инквизитор поскреб подбородок. — Слышал это имя в совете. Говорят, строгий хозяин. Но справедливый.

— Это говорят все, кого я спрашивал. — Судья сложил руки на груди. — Слишком все. Когда о человеке говорят одинаково, это либо святой, либо хороший организатор. И то и другое, друг мой, наводит на мысли.

— Вы подозреваете лорда?

— Я никого не подозреваю. Я отмечаю странность. — Тренн вернулся к столу, раскрыл блокнот на чистой странице и записал одно слово: «Предел». — Убийца ходит по кругу и ни разу не заходит в одно и то же место. Либо там особо спокойно, либо там нечего охотиться, либо он знает, что там нельзя. Либо там живет он сам и не гадит там, где ест. Я не знаю. Но это единственное место на карте, где ни разу ничего, и мне это не нравится больше всего остального.

— Нужно проверить, — сказал Менсфельд. Это прозвучало не как вопрос.

— Нужно, и осторожно, друг мой. Лорд в своих землях хозяин, и его слово в совете весит больше нашего с вами. Пока у меня на руках только пустое место на карте, а пустое место в суд не вызовешь. Мне придется ознакомиться со сведениями о землях Морвена. Расспросить людей, заглянуть в архив. Здесь, в Тойне, есть тот, кто видел и торговцев оттуда, и сборщиков податей. А если потребуется, придется съездить самому.

— Тогда я не стану вас отвлекать, — сказал инквизитор. Он поправил рясу и, как показалось судье, слегка помедлил, как делал всегда, когда готовился сказать что-то серьезное. — Фредерик. Вы знаете, я по обыкновению… Нет. Ничего. Вы правы, что смотрите на то, чего нет. Это у вас получается лучше, чем у меня. И, пожалуйста, не вздумайте ехать один.

— Почему? — спросил судья.

— Потому что без меня вы не сумеете даже заблудиться правильно, — сказал Менсфельд.

Тренн фыркнул, и инквизитор, довольный тем, что последнее слово осталось за ним, вышел.

Судья долго стоял, глядя на пятно на карте. Потом достал из ящика чистую бирку, обмакнул перо в чернила и вывел на ней: «Серый Предел». Воткнул ее в булавку, а булавку, помедлив, в самый центр пустоты.

Улица, на которую вышел Менсфельд, была к этому часу уже тихой. Дневная суета осталась в нижнем городе, а здесь, у подножия холма, где лавки закрывались рано, а прохожие встречались поодиночке, закат ложился на мостовую широкими медовыми полосами, и казалось, что мимо идти надо осторожно, чтобы не расплескать. Инквизитор шел медленно, засунув руки в рукава рясы и перебирая в голове то, что услышал от судьи: пятно на карте, слова «Серый Предел», вопрос, на который у него не было ответа.

— Господин инквизитор?

Окликнули его негромко, и голос был женским: молодым, мелодичным и каким-то выверенным, будто его не просто произносили, а сперва клали на весы. Менсфельд обернулся.

Она стояла в трех шагах от него, и в первую секунду инквизитору показалось, что закат решил обзавестись собственным лицом. Волосы у нее были золотые, не светлые и не русые, а именно золотые, как расплавленный, не успевший остыть металл, и спускались волной почти до пояса, схваченные у висков тонкими гребнями. Лицо тонкое, с чуть приподнятыми скулами и острыми ушами, которые не прятались, а, наоборот, были поданы прической с той небрежностью, на которую уходит не меньше получаса. Глаза цвета липового меда, спокойные и внимательные. На вид ей было лет восемнадцать. Но Менсфельд, проживший жизнь в обществе тех, кто лжет с разной степенью умения, довольно быстро понял, что видит перед собой не ту юность, которая бывает в восемнадцать. Она держалась так, как держатся те, кто давно знает, на что способны собственные руки и как далеко они достают. Если ей было восемнадцать, то эти восемнадцать были пройдены не за один год, а за три-четыре десятилетия.

Одета она была в платье малахитового цвета. Ткань, длинная и легкая, лежала на ней как вода на хорошем камне: переливалась зеленым с темными прожилками, подчеркивала изящную талию и плавную линию плеч, не нуждаясь ни в лентах, ни в украшениях, ни в одном лишнем движении. Менсфельд, которому не раз приходилось определять на глаз, что скрыто под облачением, отметил, что тут скрывать нечего: все предусмотрено самим покроем.

— Я вас напугала, — сказала девушка и улыбнулась. — Простите. Эльфы, как известно, подкрадываются.

— Нет, что вы, — ответил инквизитор, не очень уверенный, что голос не выдал его. — Я просто… Мне давно никто не говорил «господин инквизитор» на улице. Обычно говорят шепотом, и не мне.

— Я Аврелия Аль’Рэ, — сообщила она, не дожидаясь, пока он оправится. — Дом Аль’Рэ, из тех, что пришли первыми. Мне передали, что вы человек образованный и любите рассуждать. Я очень люблю слушать тех, кто любит рассуждать. Вы не против, если я украду у вас час? Здесь недалеко есть аллея, на которой в это время никого нет.

Это был момент, на который Менсфельд, всю жизнь ожидавший чего-нибудь в этом роде и всякий раз оказывавшийся не готовым, потратил добрую секунду. Он вспомнил, что в Тойне никто не приглашает инквизитора на прогулку без причины. Потом вспомнил, что причины обычно называют не сразу. Потом посмотрел на закат и решил, что час не такой уж большой срок.

— Охотно, — сказал он. — Но предупреждаю: я могу заговорить вас насмерть.

— Тогда мне придется очень постараться выжить.

Они пошли рядом. Аллея, о которой говорила Аврелия, оказалась липовой: две шеренги деревьев, посаженных на равном расстоянии, стояли по сторонам ровной дорожки, и золотистый свет сочился сквозь их листву, как сквозь мед, процеженный через тончайшую ткань. Пахло теплым камнем, чуть-чуть цветочной пылью и водой: где-то рядом журчал фонтан. Эльфы, попадавшиеся навстречу, расступались без слов, склоняя голову ровно настолько, насколько требовала вежливость. Менсфельд, привыкший к тому, что при его появлении разговоры стихают, а люди вдруг вспоминают о каких-то срочных делах, отметил, что здесь тишина имела другое качество: не страх, а нечто вроде осторожного любопытства.

— Я хотела бы поговорить о богах, — сказала Аврелия.

— Это любимая тема моего ремесла и худшая тема моих ужинов.

— Тогда вам будет приятно, что я не собираюсь ужинать. — Она шла, сцепив руки за спиной, и слегка покачивала головой в такт какой-то мелодии, которую слышала только она. — Вы знаете, что с нашими богами случилось?

— Знаю то, что пишут в книгах. Они ушли.

— Или погасли. Или замолчали. Мы до сих пор спорим, как это называть. — Она помолчала. — Одно можно сказать точно: перестали отвечать. Раньше, когда эльф обращался к ним, кто-то слушал. Потом в какой-то год слушать перестали, и мы остались с молитвами, которые некому адресовать. Это очень странное чувство, господин инквизитор. Вы разговариваете в пустой дом. Не потому что там никого нет, а потому что вы уже привыкли, что там кого-то нет.

— Вы надеетесь, что они вернутся?

— Уже не знаю. — Она чуть склонила голову. — За столько лет мы научились обходиться, а вернувшийся хозяин, знаете ли, потребует отчета. Не уверена, что нам есть что ему предъявить.

— Долго это длилось?

— Дольше, чем вы живете. Дольше, чем я. Мы стали безбожниками, не по убеждению, а по обстоятельствам. Научились обходиться. Научились смотреть на звезды и не просить у них ничего. Знаете, как привыкают жить в доме, где умер хозяин? Мебель не переставляют, ключи не выбрасывают, просто перестают оглядываться на дверь.

Менсфельд слушал, и что-то в нем, давно омертвевшее под слоем должностных обязанностей, шевельнулось. Он умел различать вопросы, которые задают из любопытства, и вопросы, которые задают из надобности. Этот был второго рода.

— И что изменилось? — спросил он.

— Изменилось то, что мы больше не живем в замкнутых домах, — ответила Аврелия. — В таких городах, как Тойн, нельзя не соприкасаться. Ты выходишь на улицу и встречаешь людей, у которых есть боги. И они не просто есть, они живые: к ним обращаются, им приносят хлеб и воск, перед ними зажигают огонь. Сначала мы смотрели со стороны. Потом кто-то из молодых пошел на праздник из любопытства. Потом на второй. Потом оказалось, что слова, которые произносят люди у огня, можно повторять, и что от повторения на душе делается… не знаю, как сказать. Теплее. Не легче и не светлее, а теплее.

— Вы сами были?

Аврелия на мгновение остановилась. Потом посмотрела на него прямо, и в медовых глазах мелькнуло что-то совсем юное, испуганное и счастливое одновременно.

— На прошлой неделе. На празднике огня, у вас в храме. Мне дали свечу. Незнакомая женщина, она даже не спросила, кто я. Просто сказала: «Держи, деточка, и зажги». — Девушка улыбнулась, и улыбка ее оказалась неожиданно беззащитной. — Я стояла со свечой в руках и пыталась не расплакаться. Пятьдесят лет жизни, господин инквизитор, и это было первое, что я сделала в этом роде. Я вся горела. Это было так волнительно и так увлекательно, что мне хотелось одновременно убежать и остаться.

Они пошли дальше. Менсфельд не нашелся, что сказать, и молчал, и молчание это было, кажется, лучшим ответом. Над аллеей зажглись первые фонари, и пятна света легли на дорожку, как оброненные монеты.

— Я хочу вас спросить, — продолжила Аврелия после паузы, — и прошу ответить честно, а не так, как вы отвечаете на допросах. Как Церковь относится к тому, что мы приходим? Эльфы, которые участвуют в ваших обрядах. Которые зажигают свечи, повторяют слова, которые, может быть, нам не предназначены. Это допустимо? Или нас считают самозванцами?

Инквизитор не сразу ответил. Он понимал, что от этого ответа зависит нечто большее, чем вежливость. И еще он понимал, что ответ у него есть: не тот, что он дал бы десять лет назад, и даже не тот, что дал бы вчера.

— Я не могу говорить за всю Церковь, — начал он, — и тем более за здешнюю Мать, которая человек строгих взглядов. Но в столице, в Мерендоле, это уже не вопрос. Там ваши соплеменники ходят в храмы с каждым днем все чаще, и никто не оборачивается им вслед. Церковь последние годы все больше вплетает в канон мысль, что не нужно жестко противопоставлять людских и не-людских божеств. Есть такая формула, ее пока не записывают нигде, но произносят: «Божество принадлежит тому, кто к нему обращается; кто его почитает». И не имеет значения, человек это, эльф, гном, орк, гоблин или кто бы то ни было еще. Важно, что он обращается. Здешняя Мать, к слову, говорит, что цель любого обращения — помощь людям. В столице уже все чаще говорят «живым». Думаю, и здесь со временем привыкнут.

— А раньше?

— Десять лет назад Церковь настаивала бы на другом. Сказала бы, что божества людей принадлежат людям, и что не-людям там делать нечего. — Менсфельд развел руками. — Я не стал бы называть это правильным или неправильным. Я лишь свидетельствую, что мир меняется, а вместе с ним меняются и те, кто пытается объяснить этот мир. Время смутное. Но смутные времена, как правило, бывают самыми живыми.

— А вы сами? — спросила Аврелия. — Что вы об этом думаете, не как инквизитор, а как человек?

— Я инквизитор, — сказал Менсфельд. — Мое дело следить, чтобы тенденция не стала ересью, а ересь не стала запретом.

— Это не ответ.

— Это самый честный, какой у меня есть, — признался он. — Но я начинаю подозревать, что он устаревает.

Аврелия остановилась. Она стояла посреди аллеи, в пятне фонарного света, и золотые волосы вспыхнули, как вспыхивает металл, когда его бросают в огонь. Лицо ее было неподвижным. Потом губы дрогнули, и по щекам, прежде чем она успела что-либо сделать, побежали две блестящие дорожки.

— Простите, — сказала она. — Я не хотела.

— Это ничего.

— Вы не представляете… Вы, должно быть, не представляете, как это важно. Я не знала, что так отвечают. Я думала, будет «нельзя». Или «подумаем». А вы… — она не договорила. И, прежде чем Менсфельд успел сообразить, что от него ждут какого-то действия, подалась вперед и обняла его, коротко и крепко, так, как обнимают не потому что принято, а потому что иначе нельзя.

Инквизитор застыл. Руки его остановились где-то на полпути, не решив, на что им сгодиться. От ее волос пахло липовым цветом, лавандой и чем-то неуловимо чужим, чем пахнут только те, кто пришел издалека и надолго.

— Спасибо, — прошептала она ему в плечо. — Вы замечательный. Я скажу об этом дяде.

И отступила. Отпустила. Улыбнулась, на этот раз уже без слез, и, прежде чем он нашелся с ответом, развернулась и пошла прочь, по дорожке, под липами, мимо фонарей. Малахитовое платье мерцало, как вода в сумерках, и становилось все меньше, пока не растворилось в зеленой темноте.

Менсфельд остался один. Он стоял посреди аллеи в вытянутой серой рясе, и руки его по-прежнему были слегка приподняты, как будто их забыли опустить. Потом он спохватился, огляделся, нет ли свидетелей, и убедился, что свидетелей, на его счастье, не было, если не считать липы, которые, как известно, молчат.

— Фредерику я не расскажу, — сказал он вслух. — Ни за что.

Он постоял еще минуту. Потом одернул рясу, привел в порядок лицо и пошел вверх по аллее, медленно, будто что-то обдумывая. На самом деле он ничего не обдумывал. Он просто шел и чувствовал, как под ребрами, там, где у других людей бывает совесть, а у инквизиторов обычно что-то другое, медленно и непривычно теплеет.

Глава 7

Гаспар вернулся первым, под вечер, с севера, и вид у него был такой, будто всю дорогу он спорил с ветром и ветер, похоже, выиграл. Щеки задубели до кирпичного цвета, борода обросла инеем, который не успел растаять даже в теплом коридоре, а левое ухо, обмороженное в перевале и давно зажившее, все равно торчало красным, как будто не верило в собственное исцеление. Ренье въехал во двор через три часа, с юга, и разница между ними была такой разительной, что слуги, помогавшие спешиться, невольно переглядывались. Один выглядел так, словно его вынули из ледника. Другой так, словно его слишком хорошо кормили.

Лорд Морвен принял их в северной башне, где стол, как всегда, был завален свитками, а в камине тлели три полена, которые, судя по всему, никто не собирался подбрасывать. Он выслушал обоих стоя, заложив руки за спину, и по тому, как разошлись на лбу две тонкие морщинки, можно было понять, что рапорты его не слишком удивили.

— Гаспар, ты первый, — сказал он. — Что на севере?

— Север, Отец, — это когда зимой лежишь под сугробом и думаешь, что хуже быть не может. — Гаспар сглотнул, словно подбирал слова, которые согласились бы идти в порядке. — Я проехал три города. Нордвик, Бергхайм и Зальцфурт. Рабов там почти нет, а те, что есть, никому не нужны. В Бергхайме рынок собирается раз в месяц: пять лотов, из них два старика, один калека и двое с кашлем. Цены кусаются, потому что товара мало, но и покупателей мало, потому что денег еще меньше. Хозяева нанимают людей на сезон, а на зиму отпускают: рабов нечем кормить.

— Это общая картина или частные случаи?

— Общая. На севере каждый рот на счету. Рабство тут переживает не лучшие дни, как сказал мне один торговец, и добавил, что сам подумывает заняться солью. — Гаспар помолчал. — Так что для нас там ничего нет, Отец. Никакого товара.

— Отсутствие товара, — сказал Морвен, — тоже сведения.

— Я помню. Вы это говорили.

— Он повторял это каждую ночь в пути, — вставил Ренье. — Не вслух, но у него лицо такое.

— Дойдем и до тебя, — спокойно сказал лорд. — Но сначала.

Читателю, которого могло удивить, как Гаспар за такой срок обернулся до северных городов, стоит напомнить кое-что о здешней земле. Север королевства, где стоит крепость Морвена, изрезан горными хребтами так густо, что на карте он напоминает смятый лист: гребни идут один за другим, и пройти сквозь них можно лишь в немногих местах. Таких мест на всю округу три, и лучший из них, перевал под названием Кривой Зуб, лежит в получасе езды от стен самой крепости. Гаспар поехал именно этим путем. Без него пришлось бы три недели огибать хребты по долинам, у границы, где в военное время опасно и скучно.

Вот почему лорд Морвен значит больше, чем значит просто крупный феодал. Любой обоз, любой гонец, любой отряд, идущий на север или оттуда, проходит под его стенами и, как правило, с его ведома. Он не берет пошлин, чего не позволил бы ему король, но и не нуждается в них: достаточно того, что его знают. Север и юг королевства разделены не расстоянием, а ключом, и ключ этот давно висит у него на поясе. В Серый Предел не заходят случайно.

— Теперь ты, — сказал Морвен.

Ренье оживился. Он вообще оживлялся легко, как оживляется всякий, кому позволили говорить после долгого ожидания.

— Юг, Отец, вам понравится. Там тепло, дешево и не спрашивают лишнего. Я объехал четыре города, и рынок везде есть: людей много, цены на треть ниже, чем в Тойне, и товар

лучше, потому что беженцы с запада идут в основном туда. Одна беда. — Он понизил голос, хотя вокруг никого не было. — Эльфы.

— Продают?

— Открыто. Закон, о котором вы говорили, до юга еще не дошел, а если дошел, то только слухом. Я видел лот из трех: красивые, ухоженные, с бумагами, цена вдвое против человеческой. Торговцы говорят, мол, когда придет закон, тогда и посмотрим. Один даже подмигнул, что, мол, пока не пришел, надо успеть.

— Эльфов не брать, — сказал Морвен.

— Я и не собирался. — Ренье поморщился. — Они дорогие и дерзкие. Один мне в глаза сказал, что я воспитан хуже, чем он.

— Он был прав?

— Он был эльф. Они всегда правы, пока им не заплатишь.

Лорд едва заметно усмехнулся и подошел к столу. Некоторое время он молча перекладывал свитки, как раскладывают колоду карт перед тем, как раздавать. Потом сказал:

— Значит, для крупных партий Тойн, для мелких юг, и севера нет. Хорошо. Этого достаточно. Через неделю я объявлю решение. Отдыхайте.

Они уже направлялись к двери, когда Гаспар вдруг остановился, обернулся, и стало видно, что в нем зреет то, что обычно зреет у него в самый неподходящий момент.

— Отец. Я думал о вашем ответе про войну. Всю дорогу.

— И к чему пришел?

— Север — это пустые дворы, — сказал Гаспар медленно. — Юг — переполненные рынки. Война одна, а лица у нее разные, куда ни придешь. И я все пытался понять, какое из них настоящее.

— Все, — сказал Морвен. — И ни одно. Вот это тебе и придется носить в голове, Гаспар.

Ренье вздохнул, уже за дверью, и вполголоса сказал, что надо бы остановить его, прежде чем он начнет думать про зиму.

— Где принцесса? — спросил Гаспар, когда они вышли в коридор.

— Занята, — ответил Ренье. — Слуги говорят, из ее башни третий день доносится странное. Не крики, нет. Скорее как будто кто-то очень старательно что-то выговаривает. По слогам.

— Это ее дело.

— Все, что Гаспар не понимает, он считает чужим делом, — заметил Ренье, и на этот раз Гаспар не нашелся, что ответить.

Утром у ворот крепости собралась небольшая толпа, причем такая, какой не бывает, когда приходят с хорошими новостями. Шли без шума, держа шапки в руках, и в самом этом молчании чувствовался возраст людей, давно привыкших говорить меньше, чем думают.

Старшины из ближайших деревень приходили к лорду каждый год: перед жатвой с поклоном, после жатвы с отчетом. Сегодня был не тот случай. Трое пожилых мужчин в серых холщовых куртках вошли в приемную залу, остановились у порога и замерли, не решаясь пройти дальше по каменному полу, начищенному до блеска, ради которого кто-то, по-видимому, трудился с рассвета.

Приемная зала лорда Морвена была из тех мест, где легко чувствовать себя маленьким. Высокие стрельчатые окна, пропускавшие свет сверху, отчего он падал на пол длинными стеблями; простое кресло на возвышении без единой позолоты; на стене ничего, кроме выцветшего знамени, и по правую руку от кресла, за широким столом, управляющий Эберт, сухой человек с ровным пробором, перебиравший счетные книги. Лорд сидел, чуть склонив голову, и казалось, что он думает о чем-то своем, хотя на самом деле он слушал.

— Говорите, — сказал он.

Заговорил старший, Гюнтер из Эльбаха, человек лет шестидесяти, у которого руки были такими же серыми, как куртка, и такими же прочными.

— Милостивый господин. Мы к вам не за добром, а с бедой. Урожай нынче не удался. Рожа на колосе пошла еще в начале лета, а в сентябре ударил ранний заморозок. С поля сняли хорошо если треть против обычного. В Эльбахе, в Ротенмюле, в Верхнем Штайне то же самое. Мы подсчитали, господин, и выходит, что до весны не дотянем, если не придет помощь.

— Вы просите отсрочки оброка?

— Мы просим войти в наше положение, — сказал второй старшина, Освальд из Ротенмюле, помоложе и поживее. — Оброк, конечно, мы платили всегда, и в этом году платить будем, но тогда на зиму не останется ничего. Дети, господин. Стариков мы еще как-нибудь прокормим, а детей…

— О детях я знаю, — сказал Морвен.

Помолчали. Гюнтер, не поднимая глаз, очертил на груди знак расходящегося пламени, и этот жест сказал больше, чем слова.

— Из-за гор слухи нехорошие, — произнес он тихо. — Говорят, в других краях с детьми беда. А у нас, слава богам, ничего. Спокойно. Только вот хлеба нет.

Лорд поднял глаза. Это был один из тех взглядов, о которых потом говорят, что он длился всего мгновение, хотя те, кто был рядом, помнят его как нечто более долгое.

— Спокойно, — повторил он. — Это дорогого стоит. Эберт.

Управляющий раскрыл книгу.

— Вот что я скажу, — продолжил лорд. — Оброк в этом году берется вполовину. Недостающее покрою из своих амбаров, потому что хозяин, который взыскивает с голодных, скоро остается хозяином пустых полей. Но этого недостаточно, и я не стану делать вид, что достаточно. Эти времена нелегкие, и города должны поддержать деревни. Для того мы с ними и живем рядом: деревня кормит город, а город в беде отдает долги. Я написал в три совета. Эльдсберг, Граубах и Штайнвальд помогут деревням, расположенным в их округе. Эберт, прочти.

Управляющий кашлянул и стал читать ровным голосом, каким читают то, что давно известно и было решено заранее.

— Эльдсберг, где в амбарах городского совета лежит запас на два года, откроет склады: рожь будет выдана деревням в долг, без роста, с возвратом натурой после следующего урожая. Выдача по числу ртов, по списку, что составят старшины. Граубах, город ткачей и кожевников, примет на зиму работников из деревень: починка стен, дорог, уборка снега. Платить будут хлебом и зерном, а не деньгами, потому что с деньгами зимой, как известно, делать нечего. Штайнвальд, город горняков, отпустит железо в долг для плугов и борон: весной пахать будет нечем, если не починить. Кроме того, мельницы всех трех городов первые два месяца будут молоть крестьянское зерно без платы за помол.

Старшины слушали, не двигаясь. На лице Освальда медленно проступало то, что трудно было назвать облегчением, потому что слишком редко оно бывает у таких людей и потому труднее поверить.

— Весной, — продолжил лорд, — вы получите посевное зерно. Оно будет выдано из моих складов, а долг за него заплатите в два срока, осенью и через год. Если урожай окажется лучше, заплатите полностью. Если хуже, поговорим.

— Господин, — тихо сказал Гюнтер. — Мы не знаем, как…

— Знаете. Вы тридцать лет приходите ко мне, и ни разу не принесли ложь. — Морвен слегка откинулся в кресле. — Я прошу взамен немногого. Следить за дорогами. Если на трактах будут появляться чужие люди с недобрым видом, сообщайте Эберту. И не позволяйте, чтобы слухи из-за гор делали из деревень то, что они делают с людьми: боязнью, злобой и поиском виноватых. Я не люблю, когда ищут виноватых раньше, чем разбираются.

— Мы не такие, господин.

— Знаю. Поэтому и говорю с вами.

Они поклонились, все трое, низко, почти до пола, и в этом поклоне была не покорность, а нечто вроде надежды, которая боится быть замеченной. Когда за ними закрылись двери, управляющий Эберт, не поднимая головы от книги, негромко заметил, что расход по трем городам составит около четырех тысяч золотых, если считать с учетом отсрочек.

— Расходы на землю, — сказал Морвен, — никогда не бывают расходами. Они бывают вложением. Просто окупается оно не всегда в тот год, когда ты об этом помнишь.

Это был, надо признать, образцовый ответ лорда-феодала, строгого, но справедливого. Крестьяне не могли знать того, что знал лорд: например, что земля, на которой живут голодные люди, плохо хранит секреты. Что каждый человек, получивший помощь, становится осторожнее в разговорах. И что тот, кто строит репутацию доброго хозяина, получает то, чего не купишь ни силой, ни золотом: тишину вокруг собственных стен. Но я бы не стал сводить все к расчету. Строгость лорда, как мы видели, имела свои границы, а справедливость, при всей ее удобности, была не совсем маской. Люди умеют быть многим одновременно. Упыри, как показывает практика, тоже.

Аврелия Аль'Рэ сидела на высоком стуле у окна, расправив плечи так, как расправляют их те, кому весь день твердят о достоинстве, и пыталась не думать о том, что у нее затекла левая нога.

Студия мастера Ансельма Рэйфа помещалась на верхнем этаже дома в Верхнем квартале, под самой крышей, где потолок скошен, окна идут по северной стене и свет не мечется, а ложится ровно, как вода в блюдце. На мольберте стояло полотно, вырезанное по размеру из доброго льна и до половины покрытое тонкой первой краской: контур головы, линия шеи, золотистая масса волос, и пока ничего больше. Сам Ансельм, человек полный, с рыжей бородой, обвисшими усами и руками, вечно перепачканными в охре, расхаживал вокруг мольберта на цыпочках, прижимая кисть ко лбу.

— Не двигайтесь, умоляю! — вскрикнул он. — Именно так! Голова чуть вправо, взгляд в окно, как будто вы услышали что-то далекое, что-то, чего нам, смертным, не дано ни услышать, ни понять. Вот! Вот это. Эта неземная отрешенность!

— У меня затекла нога, — сказала Аврелия.

— Это неважно.

— Для меня важно.

— Для вечности, барышня, неважно, — убежденно произнес художник. — Я ищу, понимаете, не просто портрет. Я ищу квинтэссенцию. Всю утонченную красоту эльфийской расы, воплощенную в одном лице. Тонкость, текучесть, неуловимость! Знаете, как это бывает: смотришь на эльфа, и кажется, что он вот-вот растворится. Что он не совсем здесь.

— Мастер Ансельм, — сказала Аврелия, не меняя позы, — сегодня утром я чихнула. Дважды. Подряд. Боюсь, вся утонченность на время покинула меня.

— Вы мне сейчас так говорите, чтобы сбить меня с настроя, — с достоинством ответил художник и вернулся к работе.

Кисть зашуршала по холсту. Это был единственный звук в студии, если не считать скрипа половиц под толстыми подошвами Ансельма и отдаленного шума города, который долетал сюда приглушенно, как рассказ о событиях, не имеющих к тебе отношения. Аврелия смотрела в окно. По стеклу ползла крупная муха, неторопливо и серьезно, как существо, которое выполняет важное поручение. Сквозь волны старого стекла Верхний квартал выглядел изогнутым и слегка плывущим, и в этом было что-то успокаивающее, словно все линии, проведенные эльфами по линейке, на мгновение разрешили себе быть живыми.

Платье на ней было то самое, малахитовое, и Ансельм счел его «единственным, достойным кисти», как только увидел. Ей, впрочем, было все равно. Ей думалось о другом, как это бывает, когда тело занято одним, а голова упрямо идет своей дорогой.

Она думала об инквизиторе. Это было, конечно, смешно: пожилой круглый человек в серой рясе, с чернильным пятном на пальце, смотревший на нее так, будто она явилась по ошибке в чужой сон. Она помнила, как неловко он держал руки, когда она его обняла. Она сама до сих пор не очень понимала, что на нее нашло. Девушка, прожившая полвека и привыкшая приглядываться, прежде чем приблизиться, вдруг бросилась на шею человеку, которого знала час. Дядя сказал бы, что это неприлично. Дядя, впрочем, вообще много чего сказал бы.

Дядя.

Она замерла. Муха на стекле сделала несколько шагов и остановилась.

— Вот! — восхитился Ансельм. — Какое лицо! Какая внезапная, глубокая, почти трагическая задумчивость!

Это была не задумчивость. Это было то, что бывает, когда вспоминаешь, что забыла сказать самое важное, и вспоминаешь это именно тогда, когда нельзя шевельнуться.

Дядя ведь поручил ей не прогулку по аллее. Прогулка была ее собственной затеей, ее маленькой вольностью, на которую она потратила весь вчерашний день, и по возвращении расплылась перед дядей в рассказе о том, как инквизитор ответил про богов. А поручение, настоящее поручение, то, ради которого Лаэрон Аль'Рэ вызвал ее к себе утром и объяснял, медленно и внятно, как говорят с детьми и с теми, кто часто отвлекается, вылетело у нее из головы начисто. Как вылетает птица из клетки, которую забыли закрыть.

Она должна была сопровождать судью Тренна и инквизитора Менсфельда во время их расследования. Это было желание дяди и воля всего эльфийского квартала: показать, что эльфы Тойна не отсиживаются за красивыми стенами, пока в человеческих семьях умирают дети. Что они, пришедшие сюда как чужаки, считают этот город своим и его беды своими. Дядя сказал, что вопрос уже согласован с советом, что бумага готова, и что передать это нужно было еще вчера.

Вчера.

— Мастер, — сказала Аврелия, не шевелясь, — сколько вам еще нужно?

— Час. Может быть, полтора. Свет сейчас лучший.

— Мне нужно уйти.

— Невозможно. Нельзя прерывать работу, когда лицо поймано. Лицо — это как рыба. Оно уходит.

Она сидела, глядя в окно, и считала. Муха ползла, свет медленно менялся, тени на стене сдвигались и вытягивались. Ансельм работал без пауз, бормоча и приговаривая, то отступая от холста на шаг, то вновь припадая к нему, и по тому, как менялось его дыхание, можно было понять, что дело и впрямь продвигалось. Когда в конце концов он отложил кисть и со вздохом сказал: «Свет ушел», Аврелия вскочила так быстро, что стул под ней отъехал по полу с неприличным скрежетом.

— Благодарю вас, мастер, завтра в то же время!

— Но платье, барышня! Вы не посмотрите на портрет?

— Завтра!

Платье зашелестело, подхватилось, и она вылетела на лестницу, не дожидаясь, пока художник придумает аргумент. Он остался стоять посреди студии с кистью в руке, глядя на дверь, и на лице его читалось то, что бывает на лицах людей, привыкших к тому, что вдохновение уходит вперед, не оглядываясь.

Городская управа находилась у подножия холма, и бежать до нее пришлось долго. Эльфы, попадавшиеся на пути, провожали ее взглядами и с понимающей улыбкой переглядывались: бегущую эльфийку в малахитовом платье в Верхнем квартале видели нечасто и потому запо-

минали надолго. У дверей стражник, молодой парень с редкими усами, вытаращил глаза и открыл рот, но не успел ничего спросить.

— Судья Тренн. Где он?

— В… в комнате без окон. Налево по коридору, госпожа.

Она нашла их там, где ей указали: в тесной комнате, заваленной ящиками и бумагами, под лампой, у стены с картой. Судья, высокий, седой, с острым носом, стоял с блокнотом в руке и, по-видимому, объяснял что-то, жестикулируя пером. Инквизитор, круглый, румяный, сидел на ящике и слушал с выражением человека, который давно все понял и не хочет показывать, что устал. При виде Аврелии оба повернулись.

Менсфельд встал так резко, что ящик под ним качнулся. Он выпрямился, вытянул руки по швам, потом спохватился и спрятал их в рукава.

— Господин судья, господин инквизитор, — Аврелия с трудом переводила дыхание. — Простите, что я ворвалась. Я должна была прийти вчера, и это совершенно вылетело у меня из головы. Меня зовут Аврелия Аль'Рэ. Я племянница Лаэрона Аль'Рэ, главы дома.

— Лорда Лаэрона знаю по совету, — сказал Тренн, и по голосу его было ясно, что он хочет знать, зачем. — Чем обязаны?

Это был тот самый эльф, что молча резал мясо на ужине у семейства Рейнарда. Судья о том ужине знать не мог, а читатель, надеюсь, помнит.

— Он просил передать, — начала Аврелия, и тут ее настигла мысль, что она стоит перед судьей в мятом платье, растрепанная, с пятном охры на рукаве, и ей стало почему-то смешно. Она набрала воздуха и продолжила уже спокойнее: — Мой дядя поручил мне сопровождать вас обоих в ходе расследования. Это просьба не только его, но и всего эльфийского квартала. Мы хотим, чтобы вы знали: Верхний квартал не отсиживается за стенами, пока в этом городе умирают дети. Мы считаем Тойн своим домом. И то, что с ним происходит, касается и нас.

Судья молчал. Он был из тех, кто в таких случаях ищет, где подвох, и надо отдать ему должное, искал добросовестно: переводил взгляд с девушки на инквизитора, потом обратно, потом на карту, как будто та могла подсказать.

— Это очень благородно, — произнес он наконец. — И слегка неожиданно. Эльфы Верхнего квартала, насколько мне известно, не жалуют ни городскую стражу, ни совет, ни тем более судей. Позвольте узнать, чем вызвана перемена?

— Тем, — сказала Аврелия, — что у нас тоже были дети. В свое время. Мы помним, каково это.

Она не стала пояснять, и никто не стал расспрашивать. В комнате на минуту стало очень тихо.

— Я думаю, это разумно, Фредерик, — сказал Менсфельд, чуть торопливее, чем следовало. — Эльфы хорошо знают свой квартал. У них есть связи, которых нет у нас. И они долго живут: память дольше, чем у любого из нас.

— Вы так рады, что я начинаю подозревать, что вы знакомы с госпожой Аль'Рэ.

— Мы виделись. Мельком.

— Вчера, на аллее, — подтвердила Аврелия невинно. — Господин инквизитор любезно ответил на мои вопросы о Церкви.

Тренн повернулся к Менсфельду. Тот, как отметил судья, с необыкновенным вниманием разглядывал собственные рукава.

— Вы вспотели, друг мой.

— В комнате душно.

— В ней нет окон, — сказал судья. — Вот потому и душно.

Он снова повернулся к девушке и, помедлив, кивнул.

— Хорошо, госпожа Аль'Рэ. Мы принимаем предложение. С одним условием: вы не вмешиваетесь в допросы, не задаете вопросов без моего разрешения и сообщаете мне все, что слышите, даже если оно кажется вам незначительным. Идет?

— Идет.

— Тогда у меня для вас есть первое поручение. — Судья подошел к столу и достал из стопки листок. — В Верхнем квартале, насколько я знаю, есть своя ночная стража. Эльфийская. Она ведет записи, но не показывает их городским властям: мне пытались объяснить, что это вопрос уважения к автономии. Я не спорю. Но, возможно, эти записи окажутся полезны. Мне нужно знать, что они зафиксировали на Ровной улице в ночь, когда умерла девочка Клара Харт. Это было полгода назад. Нас интересуют любые сведения о человеке или фигуре на крышах, но также любые необычные явления, какими бы мелкими они ни казались.

— Крыши, — повторила Аврелия. — Вы думаете, кто-то лазает по крышам?

— Я думаю, что девочка перед смертью говорила о «тете», сидевшей над окном. Что она видела, нам неизвестно. Но если ночной стражник хоть раз поднял голову, он мог что-то заметить. Если сможете, поговорите также с соседями-эльфами с Ровной улицы. Вы же не спите по ночам, насколько мне известно.

— Спим, — ответила Аврелия. — Но меньше.

— Этого достаточно.

Она взяла листок, прочла, аккуратно сложила его вчетверо и спрятала в рукав платья.

— Я займусь этим завтра же.

— Благодарю вас.

— Это я должна благодарить, — сказала она. — За то, что вы согласились.

Она вышла, оставив после себя шелест платья и тишину, и Менсфельд, второй раз за двое суток, почувствовал, что ему следует куда-нибудь присесть. Когда шаги затихли в коридоре, судья повернулся к инквизитору.

— Давайте проясним, друг мой. Вчера вы вышли отсюда и пропали до вечера.

— Я заходил в храм.

— И по дороге, как теперь выясняется, прогулялись по аллее с эльфийкой, которая оказалась племянницей главы квартала. Это тоже было частью богослужения?

— Это было случайной встречей, Фредерик, — с достоинством произнес Менсфельд. — Но если вам угодно считать, что инквизитору на улице подвернулась возможность выполнить служебный долг, не вижу причин вам мешать.

— Служебный долг, — повторил судья без выражения. — Хорошо. Только в следующий раз берите меня с собой: я тоже хочу послушать, как вы отвечаете на вопросы о Церкви.

Менсфельд открыл рот, но судья уже повернулся к карте и лицо его сохраняло полное спокойствие. Лишь в уголке рта, там, где у других людей прячется улыбка, у него шевельнулся мускул.

Глава 8

Прошла неделя, и судья Тренн с неудовольствием обнаружил, что дело перестало с ним разговаривать.

Так бывает. Первые дни любое расследование охотно делится тем, что у него есть: показаниями, тропинками, мелкими противоречиями, на которые удается потянуть за нитку. Потом оно замолкает, и бумаги, которые вчера казались живыми, лежат на столе, как гербарий. Судья перечитал все. Трижды сверился с картой, до тех пор, пока флажки не начали мерещиться ему по ночам. Прошелся поименно по каждому погибшему ребенку, вслух, шепотом, в комнате без окон, где никто не мог его услышать, кроме лампы: сорок три имени, сорок три дела, и ни одно из них не отозвалось на то, что он спросил.

Записки Аврелии Аль'Рэ тоже ничего не дали. Она явилась на третий день, запыхавшаяся, с кожаной папкой, и принесла все, что смогла вытащить у ночной стражи Верхнего квартала: тетрадь с записями за зиму и весну, исписанную мелким, как бисер, почерком. Судья читал ее ночью, и до рассвета не нашел ничего, кроме одной строчки. В ночь, когда умерла Клара Харт, ночной обход отметил: «На Ровной тихо. Собаки молчат». Больше никаких пометок, ни про крыши, ни про незнакомцев. Соседи-эльфы, которых она обошла, лишь пожимали плечами: они, конечно, не спят подолгу, но на что им смотреть на крыши? Крыши в Верхнем квартале строили так, чтобы на них не смотреть.

«Собаки молчат», — выписал Тренн на отдельный лист и приписал рядом: «У Хартов тоже. Совпадение?» Совпадением он обычно называл то, чего не мог пока объяснить.

Были и другие дела, которыми судья занимался эту неделю, и о них стоит сказать отдельно, потому что они были для него важнее, чем он согласился бы признать. Он позаботился о том, чтобы каждой семье, потерявшей ребенка, доставили письмо с соболезнованием. Не бланк, не казенную формулу, а несколько строк, которые он писал сам, по одной на семью: имя ребенка, дата, слова, подобранные так, чтобы их можно было прочесть без стыда. Он понимал, что письма не помогают. Но понимал и то, что семьи, получившие письмо, перестают чувствовать себя забытыми, а это уже немало. И еще одно соображение: он не был уверен, что получатели умеют читать. В деревнях умели далеко не все, а в городе иные не любили показывать, что не умеют. Поэтому в гонцы он набирал только людей образованных: писарей, семинаристов, одного отставного учителя, которому не повезло оказаться в нужной комнате в нужный момент. Каждому было велено прочесть письмо вслух, дождаться вопросов и не уходить, пока не станет ясно, что слушать дальше нечего.

Один из гонцов, вернувшись, рассказал, что отец девочки из деревни за северным холмом попросил прочесть письмо трижды. На третий раз он надел шапку, вышел на крыльцо и стоял там так долго, что гонец решил не мешать и тихо ушел. Судья выслушал это без единого слова и записал рядом с именем девочки: «Прочитано. Трижды».

В архиве о Сером Пределе нашлось немногое, и это немногое укладывалось в одно слово: безупречно. Земля, управляемая лордом Морвеном, исправно платила налоги, не жаловалась на разбой, не попадала в жалобы королевских дознавателей и в хроники не попадала тоже. Тренн много лет имел дело с людьми, о которых писали такие бумаги, и его опыт подсказывал, что безупречность редко бывает случайной. Чаще это хорошо проделанная работа.

Решение пришло на седьмой день, без драмы, как приходят такие решения: просто в какой-то миг он поймал себя на том, что уже складывает в мешок смену белья.

Поездка в Серый Предел манила его все сильнее. Не потому что он подозревал лорда, нет, он по-прежнему отвечал на этот вопрос «я никого не подозреваю», и это была почти правда. Но пустое место на карте перестало быть вопросом и превратилось в зуд. Ему хотелось увидеть, как выглядит край, где ни разу ничего не случилось: поля, дороги, лица. Хотелось поговорить

с теми, кого здесь, в Тойне, не расспросишь. Тренн был, в сущности, из тех, кто полагает, что мир нельзя понять по бумагам, и что в конце любого дела всегда оказывается дорога.

Он собирал вещи неторопливо, откладывая то, что показалось лишним, и возвращая то, без чего, как выяснялось, не обойтись. Блокнот, запасное перо, чернильница с плотной крышкой, плащ, карта, которую он аккуратно свернул и обвязал шнурком. Потом оповестил тех, кого следовало.

Менсфельд выслушал новость с таким видом, словно давно ее ждал, и только вздохнул.

— Предел. Я так и знал. Пока вы стояли у карты с лицом человека, который смотрит в колодец, я уже начал считать, сколько нам понадобится плащей.

— Вы не обязаны ехать.

— Я обязан не пускать вас одного. Я говорил.

Аврелия приняла известие иначе. Она вспыхнула, и вся ее аккуратная эльфийская сдержанность на мгновение исчезла, а на ее месте возникло что-то совсем юное.

— Я еду! Дядя велел сопровождать вас везде, и я, значит, еду, и это, судья, не обсуждается, правда? — Она осеклась, прижала ладонь ко рту и добавила уже тише: — То есть я хотела сказать, что готова. Если вы позволите.

— Вы были предупреждены, — сказал Тренн, — что дорога будет не из приятных.

— Я прожила пятьдесят лет и ни разу не выезжала из Тойна. Мне, судья, любая дорога покажется приятной.

Лотара судья нашел на площади, у колодца, где тот, видимо, проводил обеденные часы. Паладин выслушал приглашение внимательно, без единого лишнего слова, и по лицу его прошла тень, которую судья, не зная, как назвать, назвал про себя «облегчением, которое стыдится себя».

— Вы просили дать знать, если понадобится помощь, — сказал Тренн. — Сейчас я прошу вас поехать со мной. В земли лорда Морвена. Я не могу обещать, что там будет нужен меч. Возможно, там понадобится лишь терпение.

— Терпение, — повторил Лотар. — Я приму его как оружие. Когда выезжаем?

— Как только все будет готово. Командор не станет возражать?

— Командор, — ответил паладин, — вздохнул с таким облегчением, что я заподозрил его в тайных замыслах.

Сборы заняли еще два дня, и пока судья ходил из угла в угол, остальные занимались тем, что у кого получалось лучше.

Менсфельд сделал запрос в церковь. Он составил его сам, на тяжелой плотной бумаге с печатью Инквизиции, и отправил с гонцом к Преподобной матери, не слишком надеясь на скорый ответ. Ответ пришел к вечеру, вместе с небольшим окованным ящичком, перевязанным лентой, и короткой запиской: «Выдано под расписку. Возвращать по окончании. Не терять». В ящичке лежали кольца и три подвески на цепочках: серебро грубой, нарочито неотделанной работы, и в каждом изделии, на месте камня, сидел кристалл, серо-лиловый, как дымчатое стекло, холодный даже в теплой ладони.

— Антимагические обереги, — объяснил Менсфельд, когда судья, повертев кольцо в пальцах, спросил, что это за диковинка. — Они излучают поле, которое подавляет колдовство в небольшом радиусе. Шага четыре, не больше, но внутри этого круга любая магия, чужая или своя, просто гаснет. Мы получаем их по особому разрешению, и поверьте, Фредерик, это не те вещи, которыми Церковь делится по доброте душевной.

— Для чего они нам?

— Для того, что мы ищем колдуна, друг мой, — сказал инквизитор. — Если, конечно, найдем. И я бы предпочел, чтобы к тому времени он не мог ни парализовать меня, ни заставить заснуть, ни обратить в соляной столб.

— Соляной столб не бывает от магии. Он бывает от плохого характера.

— Надевайте кольцо.

Аврелия, получив свое, с интересом повертела его в пальцах и, не надевая, спрятала в рукав вместе с запиской дяди, с картой и еще какими-то мелочами, которые она, судя по всему, считала необходимыми. Сама она в эти дни занималась тем, что оказалось не менее важным: провизией и экипажем. Воспользовавшись связями, о которых не распространялась, она наняла в Нижнем городе четырехместную карету: добротную, на мягких рессорах, с кучером, который, по ее словам, знал дорогу в горы так же хорошо, как собственных детей, и вызывал у них примерно такие же чувства. На это ушел целый день. Еще день она потратила на корзины. Хлеб, сыр, копченое мясо, сушеные яблоки, два бочонка воды, вино для инквизитора, который, по ее наблюдениям, на этом настаивал бы, и пирожные, о которых она сообщила, что взяла их «на случай, если кто-нибудь заплачет».

Тяжелее всего далось то, что касалось Лотара.

Паладин принял кольцо и подвеску из рук инквизитора молча. Некоторое время он смотрел на серый камень, потом перевел взгляд на свой меч и сказал не то чтобы громко, но таким тоном, что в комнате стало заметно тише:

— Вы понимаете, что вы мне предлагаете.

— Понимаю, — сказал Менсфельд.

— Этот клинок не просто сталь. Он режет латы, как подтаявшее масло. Он перерубает чужие мечи, и они не успевают вскрикнуть. Он выкован кузнечным божеством, и вы хотите, чтобы я надел на себя вещь, которая превратит его в кусок железа.

— В очень хороший кусок железа, — уточнил инквизитор. — Мы не ожидаем боя, паладин. Мы ожидаем колдуна. Если он окажется настолько силен, что сумеет подчинить нашу волю, вы с мечом окажетесь против нас, и это худший из исходов. Я прошу вас об одном: носить оберег, пока мы не убедимся, что он не нужен. Его можно снять за мгновение. Цепочка слабая, рвется от рывка.

Лотар долго молчал.

— Я хранитель этого меча тридцать лет, — произнес он наконец. — Я не расставался с ним ни в бою, ни в мире. Ни разу. — Он коротко выдохнул. — Хорошо. Я надену. Но отдельно, на цепочке, и так, чтобы я мог сорвать ее в любой момент. И если придется выбирать между оберегом и тем, кого я должен защитить, я выберу меч.

— Это разумно, — сказал Тренн.

— Это не разумно, — ответил паладин. — Это единственное, на что я согласен.

Так и порешили. К исходу второго дня у ворот Управы стояла карета, нагруженная до краев, и четверо людей, каждый из которых, несмотря на разницу характеров и положения, был по-своему готов. Судья, суховатый, подтянутый, с картой под мышкой. Инквизитор, румяный, в дорожной рясе, на которой уже появилось первое пятно от пирожного. Аврелия, в плаще цвета травы, который шел ей так, как идет плащ тому, кто никогда прежде не носил дорожного платья. И Лотар, закованный в кольчугу и поверх нее в стеганую куртку, потому что полные латы в карете, как выяснилось, помещаются хуже, чем в мечтах. Меч он держал вертикально между колен.

В карете оказалось четыре места и пять корзин. Было решено, что корзина не человек, и ее поставили на крышу.

Аврора за неделю успела перерыть всю библиотеку отца и не нашла в ней ничего.

Библиотека помещалась в бывшей оружейной, в западном крыле крепости, и устроена была так, как устраивают собрание те, кто покупает книги не по теме, а по случаю. Стеллажи шли от пола до сводов, лестница на колесиках скрипела при каждом толчке, из единственной бойницы падал косой столб света, а на длинном столе посередине лежала, покрытая пылью, чья-то раскрытая и давно забытая рукопись. Книги стояли не по предметам и не по авторам,

а, как с первых дней убедилась Аврора, по эпохам и по причинам, по которым их когда-то купили: «Обратить в хозяйство», «Пригодится для сына», «Подарок от старого друга, читать не обязательно». Отыскать здесь нужное, как выяснилось, мог только тот, кто знал, что именно ищет.

Она искала книги о Товариществе. Все, что угодно: сборник формул, которые можно было бы применять на практике, или трактаты, рассказывающие, как именно устроена магия этого рода. Ей хотелось понять, по какому принципу сложен тот странный язык, на котором можно говорить с силой напрямую, минуя посредников, будь то божества или иные покровители. Почему слова в нем отвечают одному действию? Почему не нужно просить? И самое любопытное: нельзя ли обойтись вообще без этого языка, говорить с магией так, как говорят друг с другом люди, обычными словами? Эти вопросы жгли ее неделю, и она задавала их всем, кто мог ответить, то есть, главным образом, отцу.

Нашла она, в сущности, одно упоминание, и то случайное. В письме какого-то давно умершего торговца, зажатом между двумя томами по астрологии, Товарищество называлось «сборищем умников, которые не желали кланяться». И больше ни слова.

— Не надо мучить стеллажи, — сказал лорд Морвен, появляясь в дверях. Он подошел к столу, провел пальцем по краю, убедился в слое пыли, поморщился и сел на единственный стул. — Здесь нет того, что ты ищешь.

— Я заметила.

— Я слышал о Товариществе немногое и сам его никогда не практиковал. Их магия была не такой, как моя. Они искали в ней закон, как ищут в камне прожилку. Мы же искали в ней союзников.

— Почему слова у них отвечают одному действию? — спросила Аврора. — Если я правильно поняла, там нет просьбы. Там что-то вроде настройки.

— Возможно. — Он развел руками. — Не знаю. Я бы с удовольствием тебе ответил, но предпочитаю не придумывать то, чего не знаю. Возможно, они считали, что сила сама хочет быть понятой. Возможно, считали, что стоит назвать вещь точно, и она подчиняется. Я не читал их трактатов, потому что они, насколько мне известно, не сохранились.

— А если сказать не на их языке? На обычном? — Она подняла глаза. — Если просто назвать то, что я хочу, так, как говорят люди?

— Я не знаю, — повторил отец, и в голосе его не было досады. — Но если спросишь мое мнение, то обычная речь неточна. Мы говорим «огонь», и каждый понимает его по-своему. Магия, как ты уже заметила, откликается на точность. Хотя, — он слегка усмехнулся, — это лишь догадка. Проверить ее можно только опытом.

Он помолчал, глядя на нее, и взгляд у него стал тем, каким он обычно смотрел перед тем, как предложить нечто, к чему не был уверен, готова ли она.

— Аврора, если ты хочешь изучать магию всерьез, я могу показать тебе то, что знаю. Магию крови. Прочую темную магию. Это не то, что делали Товарищи, но это работает, и работает веками.

— Я знаю.

— Ты провела ритуал одежды. Это была только азбука.

— Я знаю, — повторила она. — Научи. Но я хочу и другого тоже.

— Одно другому не мешает, — сказал лорд.

Он откинулся на спинку стула, сложил руки на коленях и, как бывало с ним, когда он чувствовал, что разговор уходит в область, где можно и нужно сказать больше, чем спрошено, заговорил размеренно, с остановками, словно перелистывал страницы, которых не было перед глазами.

— Ты слышала, как Церковь называет тех, к кому мы обращаемся: демонами. И слышала, как называет тех, к кому обращаются в храмах: ангелами. Ты, наверное, думала, что между

ними разница. Что одни добрые, другие злые, одни светлые, другие темные. Так учат, и это удобно. Но я должен рассказать тебе, как на самом деле возникла эта традиция, потому что ты, кажется, собираешься идти путем, на котором такие ярлыки станут помехой.

Аврора села напротив него, на край стола. Свет из бойницы упал ей на колени.

— У каждого божества, — продолжил он, — есть слуги. Это всякого рода существа, которым поручено слушать и исполнять. Откуда они берутся, чем были прежде, никто не знает. Но традиция, уходящая вглубь веков, делит их на два рода: одних зовут ангелами, других демонами. Как это вышло? Я думаю, дело в том, что людям свойственно смотреть на мир со своей колокольни. Человек, как правило, мерит мироздание собой. К тем существам, к которым люди обращались чаще всего с добрыми просьбами, о здоровье, о хлебе, об урожае, закрепился ярлык «ангелов». Они стали ассоциироваться с добром, светом, человеколюбием, потому что именно такие просьбы им и несли. А иных, которых маги долгие годы призывали для дел, скажем так, не вполне этичных и не вполне законных, стали называть демонами. Не потому, что они от рождения были другими. Потому что их использовали иначе.

— То есть они те же самые?

— Возможно. Я не утверждаю, но допускаю. — Морвен поднял палец. — Видишь ли, вся эта дихотомия держится на одном допущении. На том, что существует четкое определение добра и четкое определение зла, и что они друг друга исключают. Что вот это здесь, а вот то там, и посередине пропасть. Но мы с тобой знаем, что это не так. Мы видим людей, которые творят добро ради зла и зло ради добра. Мы видим слово, которое на одном языке значит милость, а на другом казнь. И я не вижу причин полагать, что с теми, кто служит божествам, дело обстоит иначе. Ангел и демон, мне кажется, всего лишь два имени для одного и того же: проводника, который слушает людские пожелания и передает их воле богов. Кто что пожелал, тот то и получил. А ярлык остался.

Аврора молчала. Пыль в столбе света медленно кружилась, и каждая пылинка, прежде чем упасть, успевала на мгновение вспыхнуть.

— Ты хочешь сказать, что мы напрасно называем свои силы темными?

— Я хочу сказать, что слово «темные» — это не свойство силы, а свойство нашего отношения к ней, — ответил он. — Пользуйся им, как пользуешься словом «острый». Нож острый, но он не злой. Злым бывает тот, кто его держит. Иногда. А иногда и вовсе никто.

Он встал, подошел к полке, не глядя вытянул с нее тонкую, истертую книгу в кожаном переплете и положил перед дочерью на стол.

— Это не про Товарищество. Это про кровь. Начни с нее.

Она взяла книгу. Переплет был теплым, как будто его только что держали в руке.

— Спасибо.

— Не за что. — Он слегка улыбнулся. — Ты задавала хорошие вопросы. Для них нужен собеседник получше меня. Я постараюсь найти тебе такого.

Аврора раскрыла книгу на первой странице. Слова там, как и следовало ожидать, были на языке, которого она не знала. Но, к собственному удивлению, прочесть их оказалось не так трудно, как она думала. Они были знакомыми, как лица тех, кого видишь каждый день и никогда не рассматриваешь.

К концу недели клан Морвена собрался на пир, и собрались на него все, кто числился в клане, и многие из тех, кого в обычные дни не замечали за столом.

Зала, где пировали, была той же трапезной, но выглядела иначе: стол накрыли вдвое длиннее, расставили по стенам факелы, и пламя, дрожавшее в железных кольцах, придавало лицам цвет старой меди. Подали жареного оленя, нарезанного ломтями размером с ладонь, студень из дичи, пироги с грибами, печеные яблоки с медом и темный хлеб, который пекли только для таких вечеров. Клан ел, пил, говорил, перебивая друг друга, а лорд Морвен сидел во

главе стола и слушал, склонив голову, как слушает музыкант, подбирая в многоголосом шуме отдельные мелодии.

— Тойн, — повторял кто-то из дальнего конца. — Только Тойн. Там порт, там партии по тридцать. Что нам тут перебирать?

— Партии по тридцать, это если брать всех сразу, — возразил Ренье с набитым ртом. — А если не нужно тридцать? Мне на юге предлагали по пять, по десять, и цена вдвое ниже.

— Дешево — это не значит хорошо, — вставил Гаспар.

— Я тебе сейчас расскажу, что значит хорошо. Хорошо — это когда у торговца есть бумага, а у товара нет кашля. Вальденбург, например. Четыре тысячи человек, рынок раз в неделю, и торговцы, которые не спрашивают, зачем тебе понадобилось столько.

— А дороги? — Гаспар нахмурился. — Вальденбург на отшибе. Кестрин ближе, и дорога там суше. Я бы взял Кестрин.

— Кестрин небольшой.

— Зато честный.

Они спорили долго, с жаром людей, каждый из которых знает, что прав, и ни один не собирается уступать. Стол вокруг делился на лагеря: одни склонялись к Тойну, другие к югу, третьи, самые рассудительные, предлагали выбрать оба и не мучить себя. Лорд Морвен слушал, и по тому, как он время от времени чуть заметно кивал, можно было понять, что решение у него давно готово, а спор нужен ему лишь для того, чтобы услышать, чего каждый на самом деле боится.

Когда тарелки опустели наполовину, а голоса стали громче, он поднял бокал, и стол стих так же, как стихал всякий раз, когда он этого хотел.

— Я хочу сказать пару слов не о рабах, — произнес он.

Прошелестел любопытный шепот.

— О моей дочери. — Морвен кивнул туда, где в конце стола, как обычно, чуть в стороне от всех, сидела Аврора. Она подняла голову: ее назвали по имени посреди тихой улицы, и лицо на миг стало растерянным. — За эту неделю она сделала то, чего я не ожидал. Она зажгла огонь без жертвы и без просьбы. Не моим языком и не моими словами. Языком, которого я не знаю, и силой, о которой я ничего не могу сказать. Она находит в себе то, что не передается и не изучается. Я горжусь этим, и мне не стыдно в этом признаться.

За столом наступила тишина, а потом кто-то хлопнул ладонью по столу, и вслед за ним хлопнуло еще несколько. Гаспар смотрел на Аврору широко раскрытыми глазами. Ренье присвистнул.

— Я бы тоже зажигал огонь без просьбы, — сказал он вполголоса, — если бы знал, как.

— Ренье, — продолжил лорд, — ты показывал нам кровавые путы. Ту самую магию, которая в церкви скрутила троих мародеров. Я хотел бы, чтобы ты научил Аврору.

Ренье перестал жевать.

— Сейчас?

— Сейчас.

— Отец, ее же вы учите. А я… Мне, честное слово, очень не хочется резать запястье. После того раза оно неделю чесалось.

— Режь ладонь.

— Ладонь болит.

— Режь где хочешь, — мягко сказал Морвен. — Но режь.

Ренье вздохнул так тяжело, что стол, до этого глухо гудевший, невольно рассмеялся. Он отодвинул тарелку, вытер руки о рубаху, достал из-за пояса кинжал и осмотрел его без всякой любви.

— Гаспар, — сказал он. — Поднимайся.

— Опять я?

— У тебя характер подходящий. Все равно застрянешь.

Гаспар, ворча, встал и вышел на середину залы. Клан подался вперед, освобождая место. Аврора поднялась и подошла, делая вид, что ей все равно, хотя пальцы, как заметил кто-то из сидевших рядом, слегка дрожали.

— Смотри, — сказал Ренье. — Это просто. Режешь, — он чиркнул лезвием по ладони, и на коже выступила тонкая алая линия, — произносишь слова, — он сказал три коротких фразы, жестких, с таким количеством согласных, что Аврора узнала язык отца, — и направляешь. Не то чтобы целишься: скорее, ждешь, пока кровь сама выберет, куда ей нужно.

Кровь на его ладони шевельнулась, вытянулась тонкой красной нитью и метнулась к Гаспару. На секунду она повисла в воздухе, а потом обвилась вокруг его запястий и щиколоток, превратившись в тугие красные ленты. Гаспар крякнул и переступил, но ленты держали. Он стоял, обмотанный лентами, и всем видом показывал, что ему очень хочется, чтобы это закончилось.

— Чтобы снять, — добавил Ренье, — достаточно сказать пару слов. Вот так. — Два коротких слога, и красные ленты, не дрогнув, просто перестали быть, осыпавшись на пол алой пылью. Гаспар размял кисти.

— Красиво, — сказал он. — Но мы можем больше не показывать это на мне?

— Ты слышал? — Ренье повернулся к Авроре. — Три фразы и пара слов, чтобы снять. Попробуешь?

Аврора кивнула. Она достала свой ножичек, сделала на левой ладони короткий надрез, как привыкла, чтобы не думать об этом, и повторила слова. Раз. Другой. Они были не такими, как заклинание для зачарования одежды: короче, злее, с неровным ритмом, в котором слышалось что-то охотничье. Она произнесла их не так, как отец, не торжественно и не тихо, а так, как научилась говорить с тем, что отвечает: ровно, без нажима, без надежды и без угрозы.

Кровь на ее ладони дрогнула.

Это не было похоже на то, что показывал Ренье. Нить, потянувшаяся к Гаспару, оказалась не красной лентой, а чем-то более тяжелым и плотным. Она вытянулась в воздухе, заструилась, на лету наращивая звенья, и когда коснулась Гаспара, это была уже не лента, а цепь: багровая, тусклая, словно выкованная из запекшейся крови, и на каждом звене у нее торчал острый шип. Цепь обвила Гаспара от плеч до колен, и он, заметив, что в тело вонзились шипы, издал звук, который никогда прежде не издавал.

— Ай. Ай-ай. Больно!

— Первая попытка, — тихо сказал кто-то.

— У меня на такие путы ушло полгода, — произнес Ренье. Он стоял с кинжалом в руке, и лицо у него вытянулось: полгода труда только что превратились в анекдот. — Полгода. Каждую ночь. Я до сих пор не умею делать их с шипами.

— Я не знаю, как это вышло, — призналась Аврора.

— Сними, — простонал Гаспар. — Прошу вас.

Аврора произнесла два слова. Цепь рассыпалась так же легко, как ленты Ренье: на звенья, на пыль, на густую красноватую взвесь, которая медленно осела на плитах. Гаспар поспешно ощупал себя, нашел десяток мелких ранок, которые уже затягивались, и посмотрел на принцессу с таким уважением, на какое только способен человек с продырявленными боками.

— Красиво, — выдавил он наконец. — Только в следующий раз без меня.

Стол грянул. Люди хлопали, стучали ладонями, кто-то выкрикнул «за принцессу», и бокалы поднялись один за другим. Аврора стояла посреди залы, ощущая странное, непривычное тепло, как будто в груди зажегся маленький огонек, не голубой и не белый, а обыкновенный, человеческий.

Но под этим теплом, чуть глубже, шевелился вопрос.

— Отец, — сказала она, когда шум немного улегся. — Можно ли использовать при этом не свою кровь? Чужую?

Лорд Морвен, до этого сидевший расслабленно, чуть выпрямился. Лицо его, обычно непроницаемое, на секунду смягчилось, и в нем мелькнуло то, что слишком редко проскальзывало на людях: удовлетворение.

— Можно, — сказал он. — Об этом я расскажу позднее. Но тебе повезло: вопрос, который ты задала, обычно приходит человеку лишь через несколько лет.

— А мне? — тут же вклинился Ренье. — Мне тоже можно чужую кровь? Тогда мне больше не придется…

— Тебе, когда научишь себя не жалеть собственной, — ответил Морвен. — Тогда, Ренье, и поговорим.

Стол расхохотался. Ренье, красный, смущенный, но, как ни странно, довольный, махнул рукой и вернулся к оленине.

Пир продолжался. Подавали еще, пили еще, но разговор, до сих пор шедший кругами, как это бывает у людей, которые слишком давно друг друга знают, обрел вдруг новую точку, и все то и дело косились на Аврору. Она сидела на своем обычном месте, чуть в стороне, и ела печеное яблоко, будто ничего не происходило.

— Аврора, — позвал Морвен, и она подняла глаза. — Покажи огненный снаряд.

Это был не вопрос. Но она кивнула без возражений и встала.

Вышли во двор. Ночь стояла безветренная, прозрачная, с большой холодной луной, и факелы, вынесенные слугами, бросали на плиты дрожащие красные пятна. В углу двора, у стены, стояло чучело, набитое соломой, на котором когда-то, судя по следам, упражнялись в обращении с мечом. Теперь оно служило мишенью для чего придется. Клан выстроился вдоль стены. Морвен остановился чуть поодаль, заложив руки за спину.

Аврора вышла вперед. Она не стала ни закрывать глаза, ни торжественно поднимать руку. Просто встала лицом к чучелу, сложила пальцы чашей, как складывала их в своей комнате, и произнесла слова.

Над ладонью вспыхнул голубой огонь. Не такой, как в первый раз, не тихая искра, а плотный комок, сжимавшийся и расширявшийся, как живое сердце. Она подержала его мгновение, давая себе почувствовать вес, а потом коротко взмахнула рукой.

Огненный снаряд сорвался с ладони и пронесся через двор длинной синей полосой, оставляя в воздухе дрожащий след. Он ударил в чучело с глухим, коротким хлопком. Солома вспыхнула сразу вся, сухо и яростно, и столб голубого огня поднялся над стеной на полтора человеческих роста. Потом он опал, и на месте чучела осталась только почерневшая жердь, из которой, скручиваясь, лениво поднимался серый дым.

В тишине слышно было, как где-то в крепости скрипнула дверь.

— Ну вот, — сказал наконец Ренье, и в голосе его не было ни ехидства, ни зависти: только чистое, растерянное восхищение. — Вот это да.

Гаспар молча, без слов, смотрел на опаленную жердь. Клан зашумел, захлопал, кто-то закричал что-то неразборчивое. Лорд Морвен, не меняя позы, склонил голову в коротком кивке, и это движение, при всей своей сдержанности, значило больше, чем любые слова.

Аврора опустила руку. Огня на ладони уже не было, но она еще несколько секунд чувствовала его тепло, и тепло это было приятным. Она не умела принимать похвалу и потому смотрела не на людей, а на дымящуюся жердь. Но на лице ее, там, где обычно царила невозмутимость, на мгновение дрогнул уголок рта.

Когда пир закончился и клан начал расходиться, лорд Морвен остановил их негромким:

— Одну минуту.

Все замерли. Он стоял в дверях, и свет факелов за его спиной делал его фигуру почти черной.

— Вы выбрали, куда ехать, — сказал он. — Тойн и юг, как я понимаю, обсудили досыта. Решение мое такое: за партией рабов я поеду сам.

В этот раз шепот прошел по клану отчетливо, на несколько голосов сразу. Гаспар поднял брови, Ренье открыл рот, но не издал ни звука.

— Сам?

— Сам, — подтвердил Морвен. — Сначала в Тойн, потом на юг, сколько понадобится. Вернусь недели через три. На это время в крепости за старшего останется Гаспар, как всегда. Аврора, — он повернулся к дочери, — продолжай. Ты на хорошем пути.

— Да, Отец, — сказала она.

Он коротко кивнул, повернулся и вышел. Следом за ним, один за другим, стали выходить остальные, переговариваясь вполголоса, и во дворе, у обгоревшей жерди, на плитах, осталось всего несколько человек.

— Три недели, — пробормотал Гаспар. — Странно. Он никогда сам не ездил.

— Времена меняются, — философски ответил Ренье. — Принцесса зажигает огонь, Отец едет за рабами. Что дальше?

Гаспар хотел что-то сказать, но передумал, и они оба, не сговариваясь, посмотрели на Аврору. Она стояла у стены, чуть в стороне, и смотрела на луну так внимательно, словно собиралась запомнить ее на всю жизнь.

Глава 9

Карета стояла у ворот Управы с самого рассвета, кучер Бруно дремал на козлах, а пятая корзина, водруженная на крышу, кренилась так, будто прислушивалась к разговору внутри здания. Разговор шел в комнате без окон, и судья Тренн, впервые за эти недели, говорил не для себя.

Он стоял у карты, сняв ее со стены и разложив на столе, придавив углы чернильницей, двумя книгами и рукоятью паладинского меча, которую Лотар после короткого колебания позволил использовать в качестве груза. Менсфельд сидел на ящике, Аврелия на единственном стуле, паладин стоял у двери, по привычке, которую не переломишь: так, чтобы видеть и всех в комнате, и коридор.

— Прежде чем мы поедем, — сказал судья, — я хочу, чтобы все вы знали, с чем мы имеем дело. Не по слухам и не по моим пометкам на полях, а по порядку. Если в дороге с кем-то из нас что-нибудь случится, остальные должны понимать дело так же хорошо, как я.

— Обнадеживающее начало, — пробормотал Менсфельд.

— Это не начало, друг мой, это предосторожность. — Тренн оперся ладонями о край стола. — Итак. За последний год в Тойне и его окрестностях найдено сорок три мертвых ребенка. Возраст от четырех до девяти лет. Мальчики и девочки, примерно поровну. Бедные семьи и богатые, город и деревня. Сначала каждое такое дело велось как отдельное: где-то записывали «умер от неизвестной хвори», где-то и вовсе не записывали. Связать их в одно позволило одно обстоятельство: все дети были найдены иссушенными.

Аврелия чуть заметно поморщилась на этом слове. Лотар не пошевелился.

— Что это значит, — продолжил судья, — нам объяснил господин инквизитор. Кожа сухая, как пергамент. Тела весят меньше, чем должны. Крови в них не меньше, чем положено, а вот того, что делает человека живым, нет совсем. Освященная свеча гаснет у тела. Все это указывает на магию, и, насколько можно судить, на одну и ту же. Пока я исхожу из того, что убийца один.

— Почему один? — спросила Аврелия.

— Потому что у всех сорока трех одинаковый почерк, госпожа. Это первое, что мы знаем наверняка. — Он стал загибать пальцы. — На обеих руках у каждого ребенка мелкие порезы, неглубокие, почти параллельные, нанесенные очень острым и очень маленьким лезвием. Ни один порез не смертелен. Кровь вокруг них почти полностью убрана. Тела всякий раз находят дома, в собственных постелях, а не в лесу, не в канаве и не в колодце. Родители в ту ночь ничего не слышат. Собаки не лают. Задвижка в окне, по крайней мере в одном случае, оставалась закрытой изнутри. И в том же случае девочка за два дня до смерти говорила, что с крыши напротив на нее смотрит «грустная тетя».

— Тетя, — повторил Лотар, и в одном этом слове было что-то такое, отчего Аврелия на него обернулась.

— Тетя, — подтвердил судья. — Ребенок мог ошибиться. Но крышу, на которой она сидела, я изучил, и попасть на нее без магии нельзя. Господин инквизитор, руководствуясь своей бритвой, полагает, что убийца летает. Я пока не возражаю, но и не соглашаюсь.

— Это называется научной осторожностью, — заметил Менсфельд.

— Это называется не делать выводов раньше времени. Теперь о том, чего мы не знаем. — Тренн загнул другую руку. — Мы не знаем, кто это. Мы не знаем, как он попадает в запертые комнаты. Мы не знаем, зачем ему дети, если он не пьет их кровь, и зачем он возвращает тела, если мог бы их спрятать. Последнее, на мой взгляд, самое важное. Тот, кто прячет, боится. Тот, кто возвращает, хочет, чтобы его работу видели. Или хочет, чтобы помнили. Разница пока

ускользает от меня. И наконец, — он провел пальцем по карте, — мы не знаем, почему за все время ни один ребенок не умер вот здесь.

Палец остановился на сером пятне в северо-западном углу. Пятно было чистым, если не считать одной-единственной бумажной бирки посередине, той, что судья сам туда воткнул: «Серый Предел».

— Земли лорда Морвена, — сказала Аврелия. — Дядя о нем говорил. Он дружен с советом, но редко бывает в городе.

— Возможно, у лорда очень хорошая стража. Возможно, в горах дети здоровее. Возможно, убийца боится его, или почитает, или сам живет где-то рядом и не хочет пачкать собственный порог. — Судья выпрямился. — Я не знаю. Именно поэтому мы едем.

— Прямо в крепость? — спросил Лотар.

— Нет. — Тренн покачал головой. — Если мы явимся прямо к лорду, мы скажем ему все, что знаем, раньше, чем узнаем что-нибудь сами. Мы поедем по Пределу. Посмотрим на деревни, на города, поговорим с людьми, которые ничего не скрывают просто потому, что не знают, что скрывать. А уж потом, когда у нас будет что спросить, постучим в ворота.

Он снова склонился над картой и повел пальцем по дороге, которая выходила из западных ворот Тойна и тянулась к северо-западу.

— Маршрут такой. Из города мы выезжаем на запад, потом сворачиваем к северу. К вечеру завтрашнего дня будем в Кронентале, это день пути. Там переночуем. — Он поднял глаза на Лотара.

Паладин помедлил.

— Там живет моя сестра, — сказал он ровно. — Если позволите, я зайду к ней. Ненадолго.

— Для этого я и выбрал Кронеталь, — ответил судья, и Лотар, ничего не сказав, кивнул.

— Оттуда еще два дня до границы Предела, по старому тракту. Затем горы. Первым на нашем пути будет Граубах, город ткачей и кожевников, в одном дне за границей. В Граубахе пробудем день. Дальше деревни: Эльбах и Ротенмюле, они лежат близко друг к другу, на эти две уйдет полтора дня, считая расспросы. От Ротенмюле горная дорога ведет к Эльдсбергу, это день. В Эльдсберге хранятся городские амбары и, что для нас важнее, городские книги. Там тоже задержимся на день. И наконец Верхний Штайн, последняя деревня перед крепостью, и полдня подъема по серпантину до ворот лорда.

— Штайнвальд? — спросил Менсфельд, который успел за эти недели выучить карту не хуже судьи. — Он тоже в Пределе.

— Штайнвальд горняцкий и лежит севернее, у самого перевала. Он нам не по пути. Если понадобится, заедем на обратной дороге.

— А сколько всего? — Аврелия наклонилась над картой, и золотые волосы упали ей на плечо. — В днях, я имею в виду.

Судья ответил не сразу. Было видно, что он считал это не один раз.

— Если ехать прямо, никуда не сворачивая, от Тойна до крепости около двухсот тридцати верст. По равнине наша карета будет делать верст сорок в день, в горах вдвое меньше, если не меньше. Получается дней семь, при хорошей погоде. С нашими остановками, со всеми деревнями и городами, выйдет одиннадцать, может двенадцать.

Признаюсь, когда я впервые сложил эти цифры, меня позабавило, что одна наша знакомая, будь на то ее желание, пролетела бы это расстояние дымом меньше чем за час. Но желание у нее появлялось редко: обычно она плыла по небу неторопливо, как плывут облака, которым некуда деваться. Впрочем, в комнате без окон об этом никто не знал, и в карете с мягкими рессорами о такой скорости можно было разве что мечтать.

— Двенадцать дней, — повторил Менсфельд и посмотрел на свою рясу, словно уже примерял на нее двенадцать слоев пыли. — Хорошо. Я знал, на что подписывался.

— Вы не подписывались, — сказал Тренн. — Вы сами пришли.

— Это одно и то же, когда речь идет о вас.

Аврелия вдруг выпрямилась, как будто что-то вспомнила, и посмотрела на судью с видом совершенно невинным.

— Судья. Прежде чем мы тронемся, могу я попросить вас придержать коней?

— Буквально?

— Почти буквально. У меня в городе остались дела. Совсем небольшие. Я обязана закончить их, прежде чем уеду на две недели.

Тренн посмотрел на нее долгим взглядом, а потом на Менсфельда, и Менсфельд, разумеется, тут же сказал, что это совершенно разумно.

— Хорошо, — сказал судья. — Встречаемся здесь, у Управы, к третьему колоколу. Успеете?

— Успею, — ответила Аврелия, уже стоя у двери. — Я быстрая. Вы видели.

Мастер Ансельм Рэйф встретил ее так, будто она вернулась из долгого путешествия, а не отсутствовала пять дней.

— Готово! — объявил он прямо с порога, без приветствия, и, схватив ее за руку, потащил вверх по лестнице, в студию под крышей, так, что она едва успевала подобрать подол. — Вчера, к вечеру, на последнем свете. Я не спал. Я говорю вам, я не спал, я сидел и смотрел, и я до сих пор не понимаю, как это получилось. Вы должны это увидеть. Вы обязаны!

Портрет стоял на мольберте, повернутый к окну, и на нем больше не было пустот. Полотно было завешено тонкой тканью, и Ансельм, остановившись перед ним, выдержал паузу, которой позавидовал бы любой проповедник, прежде чем сорвать покрывало.

Аврелия посмотрела.

На полотне сидела эльфийка в малахитовом платье, вполоборота к окну, и смотрела вдаль с тем выражением, которое Ансельм в день сеанса назвал «почти трагической задумчивостью», а сама Аврелия знала как лицо девушки, которая только что вспомнила о забытом поручении. Золотые волосы, схваченные у висков, мерцали так, будто художник подмешал в краску настоящий металл. Свет из северного окна ложился на скулы и шею, и в этом свете кожа казалась тоньше, чем бывает у живых. Платье переливалось зеленью, и даже на холсте было видно, что оно тяжелое и прохладное. Ансельм сумел сделать то, что удается немногим: он не просто нарисовал красивое лицо, он нарисовал так, что смотрящему хотелось подойти ближе, а потом становилось неловко, что подошел.

Аврелия стояла молча. Художник за ее спиной перестал дышать.

«Какая красотка!» — подумала она и чуть не рассмеялась вслух, настолько неприлично прозвучала эта мысль у нее в голове.

— Ну? — прошептал Ансельм.

— Мастер, — сказала она, и голос у нее, к ее собственному удивлению, слегка дрогнул, — вы нарисовали меня лучше, чем я есть.

— Я нарисовал вас такой, какая вы есть, — с достоинством ответил он. — Просто вы этого не видите. Никто не видит себя. Для этого и существуют художники.

Она провела у портрета еще несколько минут, рассматривая то складку на рукаве, то отражение окна в зрачке, которого не заметила бы, если бы не наклонилась. Потом сказала художнику, что уезжает, и попросила не продавать портрет никому, пока она не вернется. Ансельм пообещал. Он был в таком восторге, что пообещал бы что угодно.

Следующий ее визит был совсем в другую сторону, и, признаюсь, когда я впервые проследил за ней туда, то сам поднял бровь. Читатель, вероятно, поднимет тоже.

Дом стоял в Нижнем городе, на одной из тех улочек, где фонари горят и днем, потому что солнца здесь не бывает вовсе. Над дверью висела вывеска без надписи: зеленая лампа из

толстого стекла, которая в сумерках, должно быть, давала очень мягкий свет. Знающие люди называли это место «Зеленой лампой», а незнающие, проходя мимо, ускоряли шаг. Это был дом терпимости, говоря проще, бордель, и не из последних: чистый, тихий, с тяжелыми занавесями на окнах и привратником, который выглядел так, словно мог бы при желании поднять карету вместе с кучером.

Привратник открыл перед Аврелией дверь, не задав ни одного вопроса, и склонил голову.

— Госпожа.

Внутри было тепло и тихо. Тяжелые занавеси глушили уличный шум, на полу лежали ковры, в которых нога утопала по щиколотку, а в углу гостиной, на круглом столике, стояла клетка с канарейкой, которая при появлении Аврелии принялась петь так старательно, будто ей за это платили. В этот час дом спал. Здесь, как и везде, где работают по ночам, утро наступало ближе к вечеру.

Хозяйка, госпожа Ортруда, полная женщина лет пятидесяти, с высокой прической и низким голосом, вышла навстречу в халате и обняла Аврелию так, как обнимают не гостью, а свою.

— Уезжаешь, значит, — сказала она. — Мне передали.

— На две недели. Может, на три.

— А с твоими часами как быть?

— Я поговорила с Мирой. Она согласилась. — Аврелия сняла с пояса небольшую связку ключей и протянула хозяйке. — Это от шкафа. Там все расписано, на каждый день. Если что-то будет непонятно, пусть спросит у Лиз.

Из глубины дома выглянули две девушки, потом третья, и через минуту вокруг Аврелии собрался целый кружок: смеялись, тормошили, расспрашивали, правда ли, что она едет с инквизитором, и не страшно ли ей, и правда ли, что у паладина меч, который режет железо. Одна, совсем молоденькая, с веснушками, сунула ей в руку завернутый в платок пирожок «на дорогу» и тут же покраснела.

— Вы там поосторожнее, — сказала хозяйка, когда девушки разбежались. — Горы не Верхний квартал.

— Я знаю.

— И не рассказывай им лишнего.

Аврелия улыбнулась.

— Я расскажу ровно столько, сколько спросят.

— Вот этого я и боюсь, — вздохнула Ортруда. — Ты отвечаешь на все, о чем спрашивают. Это у тебя от дяди.

— От дяди у меня уши, — возразила Аврелия. — Остальное свое.

Канарейка, словно соглашаясь, пропела еще одну трель, и хозяйка, не выдержав, рассмеялась.

Что именно делала Аврелия Аль'Рэ в «Зеленой лампе» и почему племянница главы эльфийского дома имела в ней «свои часы», объяснять я не стану. Не потому, что не знаю, а потому что объяснит она сама, и сделает это лучше: в дороге, когда ее спросят, чем она живет. До тех пор пусть это остается тем, чем остается для привратника, для хозяйки и для девушек, которые тормошили ее у порога: делом, которое никого, кроме нее, не касается.

Судья, инквизитор и паладин, оставшись без своей спутницы и с двумя колоколами свободного времени, приняли решение, которое в подобных обстоятельствах принимают мужчины во всех городах мира: пошли в таверну.

Выбрал ее Менсфельд, и выбрал не случайно. «Огненный бочонок», что у самого порта, славился на весь Тойн одной вещью, о которой знал каждый моряк: вечным огнем. Много лет назад хозяину заведения, некоему Готлибу, продал этот огонь заезжий маг, проигравший ему в кости больше, чем мог заплатить. Огонь горел в очаге без дров, без угля, ровным рыжим

пламенем, не дымил, не гас и не требовал ничего, кроме того, чтобы на него смотрели. Готлиб гордился им больше, чем собственными детьми, и, по уверениям завсегдатаев, разговаривал с ним по вечерам.

— Это нужно увидеть, — сказал Менсфельд, когда они вошли. — Я слышал о нем еще в столице.

Таверна была полна. Над столами стоял ровный гул голосов, кружки липли к доскам, а у стойки толпились матросы в том состоянии, какое бывает в портовых заведениях к полудню: уже проснулись, но еще не решили, стоит ли трезветь. Свободный стол нашелся у самого очага, и Готлиб, рыжий, с бородой лопатой, лично проводил к нему гостей, прослышав, что среди них есть инквизитор.

— Лучшее место, — сказал он, сияя. — Прямо у огня. Двенадцать лет горит. Ни разу не погас.

Они сели. Лотар поставил меч между колен. Менсфельд потер руки и повернулся к огню, чтобы рассмотреть его получше.

Огонь погас.

Не сразу: сначала он дрогнул, словно кто-то дунул на него из-за спины, потом съежился, сжался в комок и исчез с тихим шипением, оставив после себя пустой холодный очаг и тонкую струйку дыма над камнями. В таверне стало темнее. И тише.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.